

ПАВЕЛ НИЗОВОЙ.
Язычники
Повесть.
С предисловием
Ю. И. АЙХЕН-
ВАЛЬ-
ДА
Кооперативное Книгоиз-ство
„УТЕС"
г. ЧИТА.
Единственный представитель Книгоиз-ства „УТЕС"
за границей, в Европе и Америке является
Контрагентство М. И. БОРИСОВА в Харбине.
1922 г.

Кооперативное Книгоиздательство „УТЕС“.

ПАВЕЛ НИЗОВОЙ.

ЯЗЫЧНИКИ.

Повесть.

С предисловием
Ю. И. АЙХЕНВАЛЬДА.

Единственным представителем Книгоиздательства „УТЕС“
за границей, в Европе и Америке является
Контрагентство М. И. Борисова в
г. Харбине.

1922 г.

Г. Чита.

Типография Военпура.

50817



ЯЗЫЧНИКИ.

Эту книжку об Алтае, о любви и самом себе — Н. А. Рубакину от язычника 24/V-24 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В последнее время усиленно говорят о кризисе культуры, о том, что великая война окончательно обнаружила ее великую неудачу, и таким образом перед человеческой мыслью опять возникает та важнейшая проблема, которая называется: природа и и культура; опять над европейской цивилизацией нависает укоряющая тень Жан Жака Руссо с его призывом к опрощению, с тем его гимном естественности, который у нас в России так мощно повторил и углубил Лев Толстой. Очевидно, не могут избыть в себе люди тоски по родине, по родине всех родин— природе, и на самом изысканном пиру духовного изящества и умственной роскоши слышат они могучий зов земли. Элементарное влечет к себе: мать-природа, мать-сыра земля, как бы ни избалованы были ее дети, как бы высоко ни поднялись они на лестнице развития, не теряет для них своего авторитета, не дает им зазнаться, и к первоначальной стихии мы остаемся привязаны узами нерасторжимыми. От природы уйти некуда. Наша колыбель и наша могила, начало всех начал и конец всех концов, альфа и омега жизненной книги, она держит в своей космической власти не только наш телесный состав, но и самое дыхание нашей души. И в этом смысле, все люди, прихожане ее общего храма, являются единоверцами: они принадлежат к одной и той же рели-

гии. Как существует естественное право, так существует и естественная религия,—та, от которой уклониться не может никто. И эта религия—язычество.

Можно не быть христианином, но нельзя не быть язычником. Ибо природа—язычница, мы же ее чада, исповедуем веру своей матери. Не обязательна ни одна церковь, кроме той, куполом которой является небо и светом которой служат звезды, исконные лампады мироздания. Мудрыми устами вероучителя сказано было, что всякая душа—христианка: но не менее верно и то, что всякая душа—язычница: ведь душа неотделима от тела, а тело, во всяком случае,—язычник. Возникло оно из недр первичного бытия, вернется в эти недра, и пока живет, и когда умрет, всегда сливается оно с великим телом вселенной, с благословенной плотью мира. А чувствовать благословенность плоти, молиться ей, радостно растворяться в океане природы и ощущать самую физиологию ее—это значит быть язычником. Сама же природа, поскольку она довлеет себе и замкнута в собственные мировые круги, поскольку она молится самой себе и представляет собою одновременно и бога, и богомольца, жреца и жертвоприносителя,—природа осуществляет культ язычества.

Перед художником это раскрывается в особенной степени, потому что он всегда—в более или менее близком родстве с Гете, а Гете «с природой одною он жизнью дышал, ручья разумел лепетанье, и говор древесных листов понимал, и чувствовал трав прозябанье». Вот почему автор «Язычников»—художник несомненный—еще до того, как он написал названное произведение, на других своих страницах

выказал свою интимную близость с природой, свое восприятие ее как тела. И мы читаем у него такие выразительные, такие недвусмысленные строки: «сжатые, бугристые поля, вздувшиеся большими голыми животами»; или: «земля напрягала всю свою творческую мощь и ежесекундно творила мириады великих чуд; поле будто распухло, выдалось большим натуженным животом: на нем появились люди, и в черное, сочное тело вонзился и пополз острый плуг, оставляя позади ряды длинных резанных ран». И в русской сенокосной страде тоже чувствовал он нечто языческое—то, что идет от язычника—Солнца, которое «точно молодой художник в хмельном экстазе, кладет на все золотые блики».

Но особенно посвящена стихии, носительнице язычества, лежащая перед нами повесть Павла Низового, так и озаглавленная «Язычники». Это название к лицу не только тем жителям Алтая, которые выведены у молодого автора, но и тем чужакам, которые в этой же повести в алтайские горы, к их примитивным обитателям, пришли из культурного далека.

Язычество—внутри нас. И сколько бы мы ни читали газет, ни ходили в театр, ни слонялись по шумным улицам (как рассказывает о себе герой „Язычников"), не это первично, не в этом суть, а в том заключается она, что мы, под слоем искусственных ухищрений и выдумок, таим в себе первоначального дикаря. Конечно, язычество и дикарство—не одно и тоже; и достаточно вспомнить эллинизм,чтобы увидеть, на какие высоты культурности способна восходить языческая душа. Но Павел Низовой имеет ввиду не такое облагороженное язычество, не поэти-

ческих богов и людей Эллады, а ту первородную элементарность, которая чувствует себя привольно на огромных просторах сибирской тайги. Жить лицом к лицу с природой, душа в душу с ней, слышать биение ее сердца, такт в такт совпадающее с биением твоего личного сердца, принимать ее простоту, пить ее любовь, греться на ее солнце, пребывать не в мировоззрении, а в мироощущении, быть непосредственным, радоваться на Животе земли, чувствовать себя каплей в зеленой крови естества,—вот что значит быть язычником.

Это внешнее и внутреннее, физическое и психологическое язычество Павел Низовой изображает очень ярко и колоритно. Земля для него мировая Любовница, „неистощиамя в своих зачатиях": и у него—неподдельное чувство земли, он откликается на нее словами искреннего лиризма и симпатии. Картины Алтая под его уверенным пером сменяются перед нами причудливой и пленительной панорамой. „Голубые улыбки незабудок" и оранжевые цветы „огоньков", зажженные самим солнцем, стелют под ноги путникам свои самотканные ковры; а вверху зажигаются „вечные маяки на вечном несуществующем небе", и они освещают горы и озера, вода которых—как „туго натянутый атлас", освещают безконечные мириады живых тварей, леса и поляны Алтая и все то человеческое население, которое разместилось на площади этих пространств. Низовой живет заодно с тайгою и реками, он целыми часами стоит у водопадов, нередко спускается на дно тесных ущелий, где „горные потоки с непрерывной злобой грызут свое каменное ложе, прогрызая в нем пещеры,

тунели, безчисленные ноздри": как это смело сказано о ноздрях природы! Как звучит это чисто по гамсуновски!

По-гамсуновски... И здесь приходится заметить, что вообще, читая „Язычников", нередко вспоминаешь Кнута Гамсуна,—особенно его «Пана». Прямое ли тут влияние, или случайное совпадение настроений—как бы то ни было, это не подражание, не прямое заимствование: русский автор сохраняет свою самостоятельность и если даже многое навеяно на него норвежским писателем, то это чужое он претворил в свою духовную собственность. Не совпасть с Гамсуном он не мог, потому что их об'единила общая тема: человек—на лоне природы, в об'ятьях этой вечно юной язычницы. Как и певец Виктории, Эдварды, лейтенанта Глана, Павел Низовой любовно входит во все подробности природы, испытывает к ней восторженную благодарность и от всей души благословляет ее и ту душу ее, тот венец ее, который называется любовь. Он прекрасно олицетворяет ее, придает ей человеческий облик, но великодушно, без насилия, этого облика ей не навязывая. Он говорит, например, о „крепкой пяте" осени, которой она наступает на мелкую растительность; и сама осень для него—«не жалостливая, слезоточивая вдова, скорбящая о своем прошлом счастье, а яркая, солнечная, в красочном наряде красавица; лучшее праздничное платье достала она из своих потайных кладовых». Все эти метафоры и сравнения не отнимают у осени, у природы ее специфичности: природа остается природой, осень—осенью, и в то же время мир естества сближен здесь с миром человеческим.

От природы, с которой так тесно дружит, так органически общается наш писатель, рождается у него высокая настроенность. Прилив последней он чувствует по преимуществу тогда, когда задумывается о тайне любви. Если природа вообще свята, если развертывающийся свиток ее—то же, что священный свиток Завета, то высшая святость принадлежит ей в те мгновения, когда она справляет свои вольные, радостные, ликующие браки; в эти моменты лучисто сияет над нею ореол язычества. И потому для героя „Язычников" драгоценен культ человеческого тела; он поклоняется ему как святыне: да и вообще телесной любви, могуществу пола, хотел бы он воздвигнуть самый высокий алтарь и возносить на нем пламенные жертвы сладострастию. Об'ятиям любви, этому, по выражению Шопенгауэра, „узлу мира", посвящены Низовым прекрасные страницы,—прекрасные в самой, бесстыдности своей. Ибо для язычника, как и для ребенка, не существует стыда. Природа не стыдится, не стесняется, не притворяется. И что любовь права, это доказывает ее последствие. Священно материнство. Мать всегда права. И чрево рождающей земли великой матери мира сего, и чрево человеческой женщины: и то и другое одинаково благодатны; и дерево жизни увенчивают они все новыми и новыми плодами.

В глазах язычника вся природа равноценна, равноправна, и он бездумно гуляет по ее садам, воспринимая ее, наслаждаясь ею. Он, „как пьяница, как мот" безпечно растрачивает свои дни и ночи, слушает тайгу, прислушивается к земле, и любуется всякой былинкой ее, не соблюдая иерархии, местничества,

ко всему и ко всем одинаково гостеприимный. Но, разумеется, трудно человеку не предпочитать человека. И потому, не смотря на все увлечение природой в ее общности, в ее совокупности, в ее безконечном целом, проступает в творчестве Павла Низового столь естественное пристрастие именно к человеку. Оттого и чередуются на его страницах алтайские пейзажи с алтайским жанром, и чувствуется, как ценит автор присутствие человека. Когда, например (в другом рассказе), выходят из деревенской церкви бабы и девки, то они ему, ласковому, рисуются как „текучий, яркий букет, на котором солнце особенно весело и любовно“ останавливает свое внимание, свою горячую ласку. Или когда мы читаем у него: «дни медленно, устало шагали, будто ряд богомолок, в лапоточках, в пыли, обезличенные дальней дорогой» то здесь мы видим не только красивое уподобление дней и богомолок, но и сердечное отношение к самым этим неэффектным богомолкам в лапоточках, идущим в свой трудный и далекий путь.

Может быть, именно в связи с такой любовной внимательностью к человеку находится у Павла Низового и то, что в самой гуще и глубине природы, в покое ее мудрой тишины, его герой задумывается однако и о реальных исторических судьбах человечества. Перед ним «медленно развертывается живая, текучая карта мира, незнающая ни времени, ни пространства»; он созирцает, или ему кажется, что он созерцает, как „в непостижимом океане первобытной стихии плавают звездные туманы, вспыхивают и гаснут солнца, и огненным бичем сверкают на своих гиперболических путях кометы“; но вот все эти

величественные и волнующие декорации космоса не заслоняют перед ним разыгрывающейся в наши дни трагедии народов, и он в мечте своей видит пред собою «новую, сияющую Европу», слышит «новый ритм в великом шествии народов к великой Красоте и Смыслу». Впереди всех в этом триумфальном кортеже племен и земель—Германия, а в средине—наша Россия, «еще освещаемая багровыми вспышками», но вовсе стороны излучающая от себя какие то живительные токи. Именно в ней проявится «необычайный расцвет искусства и дерзание мысли», а достижение техники, промышленная культура, социальное строительство—все это пышным разливом разольется в Германии. Русские дрожжи вспенили германское тесто для грядущей новой жизни. Так Павел Низовой читает «живую, текучую карту» мира, она для него не немая, он различает на ней названия отдельных стран и гадает о их будущем. Из средины природы проникает он в средину истории. Значит, природа не исключает политики,—наоборот, вмещает ее в свое необ'ятное лоно. Можно оспаривать политику нашего автора, можно скептически относиться к его предсказанию, что сгорит „старый мир“ и отольются, отливаются уже «новые формы» для мира будущего, хотя и «крепок старый металл, много еще придется подбросить топлива, чтобы переплавить его, и много сменить плавильщиков»; можно, вопреки Низовому, не верить в это, потому что сам же он показывает на своих страницах могучую незыблемость природы, ее спокойный и уверенный консерватизм,—крепко сшита природа и так называемый старый мир лежит в ней прочными корнями, которых не сжечь никакому по-

жару революций; позволительно, говорю я, обо всем этом спорить с Павлом Низовым, но зато бесспорно более важное для искусства,—бесспорно его дарование, как изобразителя своеобразной природы и своеобразных людей. Он пишет сочно и свежо, он умеет наблюдать, он одинаково заинтересован и тем, что в человеческой душе есть сурового, и тем, что она имеет нежного,—нежного, как те фиалки, которые благоухают в одном из его рассказов. Как ни противоречиво, повидимому, такое сочетание слов, как „романтический реализм", я скажу всетаки, что именно он характерен для автора „Язычников". Павел Низовой честно воспроизводит действительность, но и невидимо оплетает ее дымкой мечтательности и лиризма. Павел Низовой черпает из студеных родников русской природы и русской речи, глубоко и сосредоточенно заглядывает в русскую душу и недрогнущей кистью рисует ее многообразную жизнь. Павел Низовой, как писатель, уже не мало дал и еще больше обещает.

Ю. Айхенвальд.

ЯЗЫЧНИКИ.

* *
*

Я теперь совсем другой: читаю газеты, хожу в театр, иногда бесцельно слоняюсь по многолюдным, шумным улицам.

Но еще очень недавно, ничего этого не было, и я ничуть не сожалел, не огорчался. Я тогда мог видеть иное: горную тайгу, первобытные калмыцкие аилы и озеро, чудесное Золотое озеро! У меня были еще два близких человека.

А чаще всего я проводил время один, просто один, сам с собою.

Мне страшно хотелось написать обо всем этом: и о тайге, и об озере, и о первобытном кочевом народе, и о двух близких мне людях. Но больше всего захотелось написать о самом себе, о переживаниях и одиноких думах своих.

Пока еще остры и волнующи эти переживания. Еще ярко и полно я ощущаю и ароматы и краски, возбуждавшие тогда мои чувства. Но все это скоро выветрится. Пройдет немного лет — и все исчезнет.

Будут новые цветы, новые ароматы, может быть, также яркие, но этих никогда не будет. Как и мысль моя, и чувства мои, восприятия и отражения жизни будут иными, совершенно непохожими на прежние.

И потому я написал эту книгу, посвятив ее самому себе.

I.

В весеннем томлении напряженное, многородящее чрево Земли. В истоме дня, в прохладе ночи, в свежести утра и вечера, оно творит, неустанно творит великие чуда.

Их уже неисчислимое количество: летающих, ползающих, благоухающих и смердящих великих чудес. А через час будут новые и опять новые. Каждую минуту, каждое мгновение непостижимо возникают миллиардами, секстилионами чудесные творения.

Солнце, ветер, обильная влага дождевая, и влага утренних и вечерних рос, и каждое живое, от слизняка до человека—все это верные, извечные любовники Земли, извечно оплодотворяющие ее, неистощимую в своих зачатиях...

Лежу, распластав свое тело на теплой траве, и смотрю на желтый цветок, из головки которого показывается микроскопическое насекомое.

В этой, едва видимой твари, то же, что и во мне, то же, что и в отдаленнейшей светящейся точке Млечного пути— единое космическое начало, единый мировой разум. И я чувствую свое родство с нею.

Солнце жжет голову и плечи; южный ветер мягко опахивает лицо и забирается под открытый ворот рубахи. А вокруг обрызгано: желтым, голубым, оранжевым...

Мне хорошо от солнца, ветра, цветов и малень-

кой букашки. Мне радостно ощущать проявление единой, многоликой жизни. Поднимаюсь, запрокидываю голову и кричу: горам в голубом мареве, фиолетовой дали и лучащемуся, жаркому небу.

Из ближнего кустарника показался человек в мягкой шляпе, с ружьем. Медленно, тяжело раскачивается—трудно нести расхлябанное, хотя и молодое тело, и большие сапоги.

— Вы кричали мне? Плохо слышно!.. Я наткнулся на уток, но кругом согры—все равно не достанешь...

Он нетерпеливо пьет чай и голубыми, детскими глазами смотрит на потухающий костер...

*

Полоса предгорья. Холмы, сопки, увалы, покрытые песками и мелкой порослью. Гряды гор совсем рядом, но до них десятки верст; они еще завешены голубой сеткой воздуха...

Лениво парят огромные хищники, ныряют резвые ястребки и копчики, играет в одиночестве птица „баран". То взмывает, то стремительно скользит вниз, производя крыльями блеющие, бараньи звуки. Пахнет нагретым песком.

Спуск под гору, брод через маленькую речку—и новая картина. Большой луг, почти сплошь в ярко оранжевом, переливающемся пламени. Это все цветы, маленькие, пылающие „огоньки". А вокруг—рама ласкающей зелени. А дальше—сиреневые горы, бережно, любовно прикрытые весенним небом.

И к этой дали—к горам, к небу—бежит, извивается, торопится сообщить о нашем шествии голубая речка...

Потом началась тайга.

Нагнулась и сразу охватила темно-зелеными, косматыми, необ'ятными дланями. Охватила неожиданно, цепко, и взволновала.

Тайга... И жутко, и радостно.

Померкли краски. Весенний день позади Безмолвно, с угрюмой важностью столпились громоздкие сосны, пихты, кедры. Между их стволов, покрытых наростами и седой плесенью, с любопытством выглядывают черемуха и рябина; по уродливым, жидким тельцам, обнимая и переплетая, взбирается хмель и княжник,—силясь добраться до вершин. Дышет сыростью, перегноем. Ноги вязнут в жирной почве, сотни веков невидевшей солнечного луча. Путь преграждают древесные трупы раскиданные во всех направлениях бурей и властным временем. Иные от одного прикосновения сапога превращаются в прах, как старый дождевик осенью... Разрослась буйно высокая, сочная трава; папоротник, кукольник, дягил—в тесном сожительстве образовали мощные, непроходимые заросли.

На небольших полянах, среди жирно-глянцевитой зелени, горят те же огоньки, скромно улыбаются голубыми улыбками незабудки; кой-где рдеют огромные, пышноцветные пионы.

На перевале опять много неба. Выстроились парадно ряды гладкоствольных, мачтовых осин. В широкий просвет смотрим, будто с террасы. Под ногами—зеленое пространство, наполненное безднами и вершинами деревьев.

За ним, странным, непостигаемым для зрения пространством—гряды огромных гор, задернутых под-

синенным тюлем. На ближних завешенных одним слоем, виден хвойный лес. На следующих, тюль этот гуще, и лес за ним едва угадывается. А там еще и еще все бледнее и бледнее,—и в самой дали не определишь: горы это или стада легких облаков, которые сейчас разбредутся по необ'ятной знойной степи.

Мой товарищ, Ганс, снимает с плеча ружье и стреляет,—просто так, в белый свет. Откликаются одна за другой скалы; неподалеку срывается глыба и скачет по уступам, все быстрее и быстрее, оставляя позади след каменной пыли. Ущелье стонет, гудит, рычит каждой своей складкой, густо шлет тяжелые, медлительные угрозы в настороженную тишину.

Опять идем книзу, и снова темнеет. Может быть, это ползет навстречу ночь? Таежная ночь, насыщенная звуками борьбы за существование, вспышками голосов слабых в когтях сильных. Может быть, тайга лишь крепче смыкает свои зеленые об'ятья...

Кипят ручьи. Прохладно и сыро. Крикнула птица,—совсем рядом, и тяжелый плеск крыльев встревоживает слух. На повороте, Ганс радостно восклицает.

— Вот оно! Смотрите...

Неподалеку, немного внизу, сверкает черная, глянцевитая гладь озера. На противоположной стороне темная гора. Вода без одной морщинки—туго натянутый атлас. Налево, за ближними хребтами, белеет острый, снеговой гребень.

II.

Впереди, позади, по сторонам—горы и горы. И на них угрюмая, девственная тайга. В большом извилистом ущельи сверкает лента воды.

Это—Алтын-коль—„Золотое озеро“.

На поляне толпится несколько десятков людей, в странных одеждах, с ножами и огнивами за поясами. Широкие скулы, приплюснутые носы и узкими щелями черные глаза.

А возле—белеет длинный ряд высоких, берестяных кадок—«сабо»,—наполненных жертвенной жидкостью.

Готовится молитвенное возношение окрестным горам, питающим скот, дающим хлеб, кедровые орехи, охраняющим белок, козлов, маралов, и рекам, утоляющим жажду всего сущего.

Против каждого сабо—его хозяин, и одиноко от всех—кам, в высокой барашковой шапке, с бубном в руках.

Лучится небо. В долине безветрено и знойно, и все молчит.

Зазвенел бубен, запрыгали первобытные, гортанные звуки, понеслись к далекой, голубеющей Алтынту.

— Амыр-иайк, азрат турган малымды кудуп-тур, аюге бербе, берюзе салба!..

«Мирное создание, паси скотину, которую я кормлю,—медведю не давай, от волка охраняй, в яму не ввергай. С начала века молимся мы тебе, тайга, с начала века просим мы тебя»!..

Сняв шапки, кланяются.

— На! пей! ешь! Нас не оставляй! Худо на нас не смотри! Эрликовых посланников к нам не приводи!—кам брызгает в сторону каждой горы жертвенной жидкостью.

Звонко гудит и бряцает бубен, льются торопливо страстные звуки, и горы, близкие и далекие, реки, ворчливые, беспокойные равнодушно внемлют изысканные обращения:

— Алтын колге кирген, аигыр иалду ак Чолышман!..—«Впадающий в Золотое озеро, белый, с лошадиной гривой, Чолышман»!..

...«Разостланный шелк»...

...«С высокими бровями, царь»..

Откликается ему чуткое эхо, вторят шумные водопады и полноводные весенние ручьи; поют птицы, благоухают растения. И разносится эта молитва людей и природы окрест и всюду.

Слушает ее светлый Ульгень, сидящий в своей царственной неподвижности на седьмом небе. Слушает мрачный Эрлик, живущий в темном царстве при устьи семи рек. Слушают: Хан-Алтай и Белый Зайсан. Слушают десятки больших и малых, добрых и злых духов, охраняющих и нарушающих мир и достояние кочующего народа.

Тихо дымят в логу круглые, островерхие юрты, возле—играют нагие, черноголовые ребятишки; в долинах и по ущельям пасутся стада коров и табуны коней; на склонах гор алтайки ковыряют абылом землю и алтайцы у костра пьют подогретую араку.

Сострадательный Каным, не оставляй их!

«Атту, тонду каан кижи
Ады тезе бий кижи!».
„На коне, в одежде, царь-человек;
Имя твое—Господин;
Жезл твой—молодой кедр;
Спина гладкая скала;
К сиротам сострадательный;
Ты—царь-человек,
Молви слово за них
Перед господином Эрликом!“

III.

Пять шагов в диаметре и два человеческих роста до вершины конуса, круглая, из жердей и березовой коры,—настоящая алтайская юрта. Строили ее три дня.

Как то странно было недвижно сидеть с поджатыми ногами, в полусумраке и смотреть на огонь, облизывающий сухие кедровые сучья. Сидеть почти безвыходно целую неделю, пока шел беспрерывный дождь. Болели глаза, ломило спину и ноги

Ганс больше лежал, на кошме вытянув длинные ноги, сосал трубку и плевал сквозь зубы в костер. Выходил только утром, чтобы сделать свой обычный выстрел в дерево.

Началось это так.

В первый же день нашего прихода, он выбрал поблизости молодую пихту, сделал на ней небольшой затес и, отсчитав тридцать шагов, провел на земле черту. С этой черты и выстрелил в дерево, оставив на затесе маленькую дырочку.

— Ганс! Зачем вы это делаете?

Улыбнулся одними губами, помолчал и неторопливо:

— Так... Чтобы не разучиться стрелять.

И с тех пор, по утрам, он неизменно всаживал очередную пульку в одно и то же отверстие.

Мелкой дробью глухо барабанит по стенам дождь; шумят деревья. Однообразно, скучно шумят, наполняя долину музыкой тоски и одиночества. Высунешь голову наружу—и сейчас же замолотят по ней тяжелые, холодные капли. Небо влажное, тусклое, как давно немытое, запотевшее оконное стекло. Отяжелевшая трава приникла. Ни одного жизненного звука в тесной горной долине. Только неустанно рассыпается по бересту дождь и клокочет внизу вспенившийся поток.

Я два раза ходил в конец лога, где за поворотом, в узкую каменную щель видно озеро. Прислонясь к уродливой карликовой сосенке, укрепившейся обнаженными корнями в сланцевом отвесе, подолгу смотрел в обе стороны. И видна была только муть. Куда ни посмотришь, одна только серая, дождевая муть. Контуры гор, положивших между водой и небом две грани—ровную, под линейку, и причудливо кривую, с зубцами—скорее угадываются, чем замечаются. Все три стихии окрашены в один мертво-холодный, скучный цвет. Таким был, вероятно, первобытный, доначальный хаос.

Во второй приход свой я увидел в десяти шагах от меня огромного ястреба, укрывшегося от дождя в нише скалы. Он не вздрогнул, не переменил место, хотя я, при желании, мог убить его палкой. Уставив

на меня большие, круглые глаза, отражавшие вечность и бессознательную мудрость инстинкта, он долго, углубленно смотрел, точно следя за моей мыслью. Потом отвел взгляд в сторону и снова погрузился в гордое спокойствие.

Дня через два после этого, проснувшись, я, по-обыкновению, поднял глаза кверху. Круглая, полуаршинная дыра для выхода дыма, прозрачно голубела, крыша юрты пребывала в безмолвии.

Быстро вскочив, выбежал наружу.

Ни дождя, ни ветра, ни одного облачка. От недвижных деревьев и влажной травы струился тонкий пар; пели птицы.

— Ганс! Охотник Ганс! Вылезайте из своего логовища! Ликуйте—наступило воскресенье!

В дверях юрты показалась худая, длинная фигура, босиком. Лицо из одной улыбки.

— Дождь кончился? Великолепно!..

Он плещется в ручье, фыркает и снова смотрит на лучащееся небо и придвинувшиеся, ожившие горы.

Я разжигаю костер, чтобы вскипятить чаю.

— Хорошо бы теперь мяса поесть. Давно мы его не ели, Ганс!

— Это сейчас устроим!—берет ружье и направляется к зеленеющей бровке леса.

Слышется выстрел, и некоторое время спустя, Ганс медленно, с развалкой, шествует.

— Вот и дичь!—бросает к огню две пестро-нарядные кедровки.—Принадлежат к семейству вороновых: ведут общественную жизнь, живут преимущественно в кедровых лесах и питаются орехами.

Я, смеясь, спрашиваю:

— Длина крыльев?..

— У взрослой птицы длина крыльев около тридцати сантиметров, клюв немного согнутый,— дополняет он серьезно и принимается ощипывать дичь.

*

Целые дни юрта пустует. Ганс с утра до вечера ходит по лесу с прекрасной трехстволкой: два дробовые и один, почти незаметный, внизу—винтовка. Вечером он приносит дичь, свежует, и мы едим ее, столько, сколько можем.

Брожу и я. Поднимаюсь на гривки гор, валяюсь в мягкой траве горных долин, спускаюсь в лога и ущелья и криком бужу эхо.

Но чаще лежу или сижу на большом каменном уступе, над берегом и наблюдаю незнакомую мне величественно-суровую жизнь озера. Я высоко, на десятки сажен над ним, и могу охватить взглядом его блестящий извив, стиснутый горными массивами, на много верст. И не смотря на расстояние, отчетливо слышу шум его волн, по которым могу определить, откуда дует ветер.

С вечера над озером повисает туман. Иногда он спускается с гор или выползает из ущелий, иногда возникает от самой воды, и медленно плывет, все окутывая, образуя одно сплошное молочное море. Неподалеку, напряженно гудит водопад и позади, каменными глотками, в тон ему откликаются скалы...

Утром, от первых лучей, туман над озером становится опаловым или, как коралл, освященный изнутри,—потом начинает розоветь и таять. И вода обнажается—гладкая, серовато-синяя, иногда с небольшими валами „верховки“ или „низовки“.

С утра до полдня вода в озере всегда серовато-синяя, ласковая, манящая. Но едва перевалит солнце через горный хребет, как на ней сразу вырастут огромные зубчатые тени. Это тени гор. Тогда горы эти, никогда не освещаемые солнцем, начинают мрачно смотреть поросшими чернью лицами в водное зеркало.

И озеро до самого вечера, до прихода молочного тумана, становится суровым, пожалуй, жутким, и уж не манит к себе.

*

В эти часы лучше пойти в тайгу. Взять с пяток сухарей, куска два алтайского сырчика и пойти в лесную глушь.

Горная тайга молчалива, насторожилась, выжидает. Жирный перегной хлюпающими челюстями хватает за ноги, острые когти кустарников вонзаются в платье и тело. Тишина сочится из седых стволов, замшенных камней, зыбучей почвы, наполняет жутью все существо. Крикнула отрывисто и глухо, точно в деревянную трубу, глухая кукушка — и тишина. Тоненько свистнула красноголовая чечевица: «Тюви ты видел!.. Тюви ты видел»!..—и тишина. Неожиданно залилась пеночка,—и опять тишина, длительная, напряженная, утомляющая слух тишина.

С первобытной мощностью разросся папоротник,—гигантскими воронками. Войдешь в эту ажурную воронку—и бесследно исчез, утонул.

А рядом поляна—окошко в небо, повисшее на вершинах кедров и пихт. Тут все пышно, ярко и полно жизни: пионы, ирисы, огоньки; хороводы бабочек и жуков. Вот, в густой траве широкие тропы; вот, под

кустарником свежая яма. Чу! загремел курумник, посыпавшийся с откоса.

Это все медведь. Может быть, два... пять... Здесь их царство.

Гремит река. По гладким валунам торопливо скачут седые водяные зайцы. Они скачут вниз, к озеру, вон с той горы, на которой я вчера убил белоголового сарыча. Выбежал маленький полосатый зверек—имуранка,—не боится ни меня, ни моего ружья, остановился и смотрит. К его счастью, дважды осечка, а дольше ждать ему надоело,—и третьим зарядом я только взрыл землю,—черную, жирную землю, да пустил облачко дыма.

IV.

Никандра еще нет. Уже около трех недель мы живем здесь, а его все нет. Кончились сухари и соль,—питаемся только дичью и ягодами. Впрочем, еще пучками, теми длинными, мясистыми стволами зонточного растения, которое так любят таежные медведи.

— Подождем еще несколько дней, и если его не будет, то я пойду в какой-нибудь аил за толканом и солью.

— Нужно будет еще достать пороху,—у нас уже немного его,—говорит Ганс.

— Достану и пороху.

— Может быть, он не нашел дорогу?

— Никандр не нашел дорогу? Это невозможно! Нет такого места, куда бы он не мог найти дорогу!..

...Поляна с огоньками. Вся в солнце. В огне и

в солнце! Дрожит, переливается, расплылось горящими узорами. Даже пахнет солнцем.

Вверху с радостным криком купаются два подорлика, и вокруг них стайка сорок в новеньких фраках. На мшистом камне свернулась змея. Заслышав шаги, подняла голову, и в раскрытой пасти затрепетал длинный, острый язык. Но я не поднимаю ружье—пусть живет и пьет солнечную радость.

Неожиданный порыв смеха, одинокого и тихого,— под обрывом, с пылающей поляны.

Гляжу на рассыпавшиеся волосы, на раскинутые сверкающие руки и думаю о старой колдунье, пьющей с огненных цветов волшебный сок молодости.

Над головой лениво кружит речной орел. Вскидываю ружье и опять смотрю вниз, на разметанные волосы и голые руки.

Женщина быстро поворачивает голову и сейчас же подымается. В этот момент возле нее грузно падает птица и начинает безпомощно бить крыльями, силясь подняться. Когти ее судорожно рвут траву и вонзаются в землю. А в глазах, больших, круглых, устремленных в меня глазах,— непримиримая ненависть.

Я поворачиваюсь и молча, неторопливо ухожу.

Жаль напрасно убитую птицу...

V.

Снова брожу с ружьем. Выпустил два заряда по маленькому зверьку с узкой мордочкой и пушистым хвостом. Зверек этот, худенький, длинный, резвился у своей норки, на солнце. От неожиданного звука, а

может быть, и от толчка воздуха он подпрыгнул и замер, насторожив уши. Тогда я сделал второй выстрел. И теперь мне больно и стыдно смотреть на него: размозжена вся головка. Ганс, наверно, упрекнет: „Плохой вы охотник! Испортили всю шкурку. Горностая надо бить дробинкой, в глаз"...

В полдень снова очутился у знакомой поляны, хотя шел, кажется, в другую сторону.

Попрежнему пылают на всем пространстве ярко-оранжевые цветы. Спускаюсь и долго хожу. Вот и она, убитая птица. Непременно набью чучело! Будет память!.. О ком или о чем? Конечно, не о женщине! Об удачном выстреле и о поляне с огоньками.

Взваливаю птицу на плечи и ухожу равнодушный к цветам.

Вечером, поев мяса без хлеба и соли, пьем чай с душистой, вкусной земляникой.

— Если Никандр на-днях не приедет, то нам нечего будет есть—осталось небольше десятка зарядов!—говорит Ганс.

Я успокаиваю: в тайге столько всего с'едобного и вкусного. Например, пучки, колба, саранка, кандык. А потом еще всевозможные ягоды. Но до этого не дойдет,—я уверен, что Никандр на днях приедет и всего привезет.

Мягко сгущаются краски, теряет прозрачность воздух, и на горы, и на деревья, и на большой гранитный валун посреди долины, ложится легкая тушь. Струится благовоние от каждого древесного листа, от каждой хвои, от каждого цветка и маленькой былинки...

— Ганс! Вам не хочется в этот вечер думать о

женщинах?... Нет Странно! А я думаю сейчас об одной девушке. Хотите расскажу?

— Я жил в мезонине, она внизу, на соседней даче... Вы слушаете? Каждый день она проходила по нескольку раз мимо моего окна, и я всегда смотрел на нее, вытянувшуюся в струночку, такую простую и всю звучащую.

Однажды, когда она шла мимо, я хлопнул рамой—хотелось чтобы подняла глаза к верху. И она это сделала, и сейчас же рассердилась. Это было заметно по быстрому повороту головы. Я вышел на балкон и проводил ее глазами до самого леса.

После этого она всегда взглядывала украдкой кверху. А я становился у окна или выходил на балкон и, молча, упорно следовал за ней взглядом.

Когда у меня сидел товарищ, я говорил ему: „Вот, видишь, она прошла и не видела нас, чтобы увидеть, пойдет обратно, возьмет теперь книжку или купальное полотенце: нужен предлог!“

И девушка шла с книжкой или полотенцем.

Я говорил: «Смотри, она обернется!» И девушка оборачивалась...

Как-то раз, я вышел и догнал ее. С чего начал—не помню. Но дальше я сказал ей: „Когда вы проходите мимо моего окна, то мне часто кажется, что в руках у вас большая чаша, а в чаше радость, —идете и расплескиваете. А чаша все полна. Мне хотелось, чтобы она у вас всегда была наполнена до краев, и вы никогда не споткнулись ни учьего порога“...

Потом часто с нею гуляли. Пригоршнями я доставал со дна своей души слова-самоцветы и подносил

их на золотом блюде. Подносил бессчетно, как расточительный богач, любуясь ее смущением и молчаливой благодарностью

Когда собрался уезжать, то купил цветов и, встретив ее на дорожке парка, сказал: „Я уезжаю. Хочу на память вам!..“ И все цветы по лепестку рассыпал по ее головке и по плечам. Все до одного. После этого поцеловал у ней руку,—«Всего вам лучшего в жизни!...»

Еще немного, и она расплакалась бы, но я пошел и не обернулся.

Ее звали Маруся...

Ганс улыбается.

— Сантиментальность!.. Вы не видели ее потом?

— Нет.

— И не знаете, что она делает?

— Не знаю.

— А я скажу. До половины дня она в засаленном платье возится с детьми и в кухне, а вторую половину болеет или бранится с мужем... Впрочем, бывают и поэтические моменты. В интимные часы вечера садятся на диван: у него книжка, у нее—старые чулки со штопальной иглой...

— Вы злы на людей, Ганс!

— Я зол?.. Нет!—Ганс затягивается из длинной алтайской трубки и выпускает дым в кружащуюся над ним бабочку.—Хотя она может быть и совершенно другой. Ничуть не изменилась после вашего от'езда, попрежнему мила, хорошо одета и надушена. Даже талия и бюст у ней, как у девушки. Чтобы не портить их, она отказывается быть матерью...

— Но душу-то, душу-то вы проглядели!

— Душу?—губы его подергиваются от снисходительной улыбки.

— А мне казалось как раз в этом и проявляется душа...

Позднее, когда мы лежали в юрте и прислушивались к потрескиванию костра и крику ночной птицы,—где-то совсем рядом,—я спросил его:

— Ганс! Вы любили когда нибудь?

— Женщину?

— Да, женщину.

— Любил...

— Может быть, даже и сейчас?..

— Если хотите—пожалуй, и сейчас.

— Любопытно! Вероятно, в ней нет тех недостатков, которые вы час назад, приписывали всем женщинам?

— Вы хотите сказать—свойств... Возможно! Но это для меня и не важно: я никогда не подходил близко к женщине и не хочу подходить.

— Не подходил близко к женщине?.. Но есть ли в этом какой либо смысл?—спрашиваю я.

Он некоторое время молчит, поправляя дымящие головни.

— Смысла здесь, во всяком случае, больше, чем во всем другом...

*

Тогда мне не захотелось продолжать этот разговор, теперь я в одиночестве думаю:

«Может быть, Ганс и прав... Что такое смысл?»

Неожиданно мелькнула картина. Было в деревне. Против моего окна, на поляне, вытоптанной, и засоренной, с порыжевшей зеленью, появился белый цве-

ток, похожий на изящный фаянсовый кувшинчик. Он был с такими тонкими, нежными стенками, что сквозь них просвечивали маленькие пестики. Целое утро я любовался им из своего окна и восхищался великим разумом природы, создавшим эту чудесную вещь.

А в полдень шла мимо свинья,—обыкновенная свинья. Ткнув цветок своим тупым носом, она сорвала его и сжевала. И пошла дальше, ни на что не взглянув.

Вверху сияло солнце, голубело небо, а внизу шла тупорылая свинья, сожравшая чудо творения,—шла и довольно хрюкала. Природе, чтобы создать этот шедевр, потребовались миллионы лет, а свинья шла и мимоходом уничтожила его.

Где тут смысл?

Но кто-то во мне кричит:

— „А для создания свиньи разве меньше потребовалось времени, материала и творческих сил? Разве она менее совершенна, чем цветок?.. Одинаково равноценны и прекрасны: великолепная орхидея и поедающая ее гусеница, орел и живущий под его крыльями паразит!.. Если один другого поедает, в этом еще нет бессмыслицы!".

Гаснет костер. Вокруг веет молчанием. Вверху, в круглом отверстии, на темносинем клочке, мерцают три яркие точки...

Как чувствуется одиночество!..

VI.

Лежу на траве, у ручья и слушаю шум его. Телом пью солнце и вдыхаю запах цветов. Надо мной

и вокруг меня — горы и неизмеримая воздушная стихия; в зубах тычинка травы, которую сорвал, чтобы не щекотала ухо. И всем существом своим я воспринимаю радость и мудрость бытия; наслаждаюсь и восхищаюсь.

Прозвенела пчела; где-то кукует кукушка.

Весна еще!..

Девушке семнадцать лет; она поет, танцует, но вдруг — неожиданная грусть, беспричинная тоска. О, если-б сказочный принц! Если-б за тридевять земель!.. Ах, как скучна жизнь!.. И внезапно — снова смех и солнечность во взоре.

Это — весна!..

Кукует в лесу кукушка; на заре над озером летает беспокойно селезень, чутко прислушиваясь, не крякнет ли где утка; на колеблющемся листке травы сцепились в брачном союзе две букашки; сладко пахнет яблоней.

Это — весна!..

Юноша с девушкой сидят в саду, плотно сдвинувшись, положив руку в руку; ночью старик у окна, грустит о своей юности; в келье монах, отгоняя искушения, жарко молится; вечером воздух — пьянящее вино.

И это весна — весна! Весна!..

Изнеженная, истомленная весенними ласками, раскинула свое страстное тело древняя, вечно юная Земля. Миллиарды любовников только что оплодотворили ее, но она ждет новой и новой любви.

Я один из тех, кому она дарит свои страстные и нежные ласки, и я хочу сейчас признаться ей в своей безмерной любви.

Я люблю тебя, я преклоняюсь пред тобой, я молюсь тебе, целомудренная, святая, бесстыдная, грешная Земля!

Ты была моя первая любимая, и ты будешь ею последнею!

Переступая таинственную, немыслимую грань зачатия, к тебе первой стремилось мое человеческое существо; и когда оно, совершив свой жизненный путь, дойдет до другой грани—ты последняя примешь его в свои об'ятия!

Страсть моя горела к тебе еще до моего рождения! Пребывая в утробе матери моей целые века, неисчислимые периоды развития, я постоянно питал ее к тебе! И по воле твоей, по твоей не предотвратимой воле—менял свои формы, поднимаясь по лестнице совершенства все выше и выше, до самых верхних ступеней ее!

В каждое мгновение круга моей человеческой жизни я был в тесном, любовном союзе с тобою! Чувствовал твою любовь, твои нежность и материнство! И ты всегда владела моей душою и моею страстью!

VII.

Опять случилось так, что я вышел к этой поляне с огоньками.

Сажусь на камень у дерева и смотрю вниз. Уже знаю, что пришел сейчас и приходил два дня назад, затем, чтобы увидеть женщину с золотистыми волосами. Чувствую, что она придет, и я хочу этого. Всем существом своим хочу.

На березах трещат кедровки, доносится отдаленный шум водопада. Ни одного пятнышка на лучащейся бирюзовой глади.

Легкий ток пробегает по телу.

Оборачиваюсь и смотрю. Из-под горы подымается женщина; не замечает. Я подаюсь назад, за выступ.

Подошла близко, на прежнее свое место, сбросила с плеч холщевую сумку с двумя металлическими сетками для растений, и растянулась—под солнцем, на цветах,—как и тогда.

Долго разглядываю всю ее, от русой головы с разметавшимися волосами, до ног, в простых, грубых ботинках.

Потом быстро прижимаю к плечу ружье и, не целясь, делаю над ее головой, один за другим, два выстрела.

Смотрит на меня ироническим, немного вызывающим взглядом.

— В кого же вы стреляли?

— Ни в кого!.. Приветствовал вас!

Мы стоим друг от друга так близко, что я вижу игру мускулов на ее лице. Вижу, как скользят по нем отражения чувств и мысли, тончайшие душевные колебания. И не только читаю, но и угадываю их появление. Вот, тонкая ирония и надменность, но за ними—любопытство. Сейчас, под‘емом бровей и стрелками губ выразится сочувствие, а если скажу еще пару слов, которые просятся, то щеки разом округлятся, под загаром выступит чуть заметный румянец.

От головы в грудь пробежит нервный ток, и остро кольнет...

Но я пока помедлю с этими словами.

— Я—охотник, живу в ущельи. Ко мне очень трудно попасть; и я не хочу, чтобы кто-либо знал мое жилище!..— Этим, последним, я, как-бы, приглашаю ее: „Приходи, я буду ждать тебя!“

Вежливо приподымаю шляпу и ухожу, ни разу не обернувшись, хотя мне очень хотелось сделать это...

VIII.

Она пришла, как я и думал, на третий день. Я только что покончил с птицей, поставив ее на большом, угловатом суку, у входа в юрту, и лежал неподалеку, на траве. Лежал и смотрел. Вот-вот полетит! Уже напрягла плечевые мышцы; уже пригнула голову. Только вместо глаз чернели две пуговицы от старых ботинок...

Зашуршала трава.

— Вот вы где живете!.. Простите, я не хотела, но вышло совершенно случайно!..

Она стояла в десяти шагах и улыбалась. В глазах я читал торжествующее:

— „Все-таки нашла вас!..“

На ней была серая мужская рубаха с поясом, и на груди синел цветок ириса. Этот цветок говорил:

— «Она все время думала о тебе. Если хочешь, то можешь взять ее—она давно уже твоя»...

Впрочем, это было написано и на лице, где чередовались: смущение, порыв и томность; слышалось и в голосе, дрожащем особыми нотками; отражалось во всей фигуре, несшей напряжение и трепет ожидания.

Она сбросила сумку с металлическими сетками. Улыбнулась.

— Все плечи оттянула... Ах! Что это за птица? Точно живая!.. Как называется?

— Скопа! Речной орел!.. Помните, я в первый раз стрелял над вами?

Подошла ближе.

— Так это она?

— Она самая. Я потом принес и препарировал ее... На память!..—смотрю в глаза, чуть улыбаясь.

Она выдерживает.

— Подарите ее мне! Для себя вы другую убьете Здесь их много!

Медленно идем по поляне, к роще молодых кедров и пихт. Уже в тени ее. Некоторое время молчим.

— Вы, кажется, что-то сказали?

Поворачивает голову.

— Тогда, повидимому, хотели сказать. Я почувствовал.

В глазах недоумение и смущение.

Я готовлюсь к литургии, к творчеству сладчайшей поэмы. Двери алтаря моего раскрыты, свечи возжены и в кадильницу насыпана душистая смола. Сейчас воскурю фимиам великой, мудрой Природе.

Мысленно обращаюсь к идущей рядом со мною:

— „В этот час, в это мгновение я впускаю тебя в тело свое, в кровь, в мозг, в каждую клетку своего естества, в каждую частицу своей духовной сущности! Впускаю тебя, мою жену, мою госпожу и рабу, тебя любимую мною еще до рождения твоего и любимую в будущие века! Впускаю на короткий миг, чтобы ты

приобщилась и была постоянною спутницею духа моего в океане вечности!“

Оглядываю ее, весенне радостную, в ореоле своих золотистых волос, тихо идущую рядом со мною.

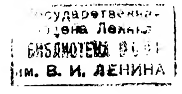
— „До прихода моего ты была мертва; родники живоносных вод твоих молчали! Ты жила, как все! Как все — страдала, радовалась, может быть, трепетала от мужских ласк,—но все-таки ты была мертва! Разве кусок железа живет хотя он воспринимает и жар, и холод, и, по желанию кузнеца, меняет свою форму?

Он оживает только тогда, когда почувствует близость магнита. Тогда невидимые, безчисленные частицы его магнитного поля разом просыпаются и начинают неудержимо тянуться к нему, единственному. И в ожившем куске железа нет такого атома, который не чувствовал бы эту волю!.

„Я для тебя—магнит, выведший из мертвого покоя таинственные силы твои“!..

Мягко беру ладонями ее виски и смотрю в черный омут глаз. Потом наклоняюсь и плотно приникаю к лицу, и чувствую вокруг шеи своей кольцо горячих рук и уста жжет истомное, жаркое дыхание.

Деревья, поляна, небо, всё сливается, превращается в смерч острых, знойных ощущений. Я вижу только одно ее, зажженное огнем страсти, тело, угадываемое мною под слоем материй, ее волнующуюся грудь. Слышу один, мучительно, страстно кричащий, предвкушающий близкое торжество свое, могучий голос пола. Он везде: во мне, вне меня, в каждом окружающем предмете. Я наполняю им всю вселенную, приобщаю весь мир к великой тайне, совершаемой мною в молчаливой тиши леса и гор...


Государственная ордена Ленина библиотека СССР им. В. И. ЛЕНИНА

Время течет ли, стоит ли?..

Загорелись вновь своими красками: огоньки, ирисы, незабудки; четко выделился каждый листик травы. Небо попрежнему голубое, бесстрастное.

В нас сейчас разлита великая нега. Я опять смотрю в глубину глаз,—не черную, непостигаемую, а ласковую, прозрачную, в которой отражается радость. Мне кажется, что от головы ее исходит сияние. Я говорю ей:

— От головы твоей льется сияние и волосы твои сладко пахнут. Да и вся ты благоухаешь, как цветущий куст маральника. Я касаюсь тебя, и на руках моих, как от цветов маральника, остается след аромата.

Глаза ее лучат ласку и радость.

— Когда я впервые увидел тебя—ты была пьяна. Пьяна от солнца и цветов. Ты была похожа на ту бабочку, жизнь которой длится один день. Много недель и месяцев она готовится к ней: и тихо ползающей гусеницей, и недвижной, незрячей куколкой. Но настоящей, яркой, солнечно-пьяной жизнью живет только один день...

Берет мою руку и кладет к себе на грудь.

— Слышешь, как бьется? Это для тебя. Мое опьянение, солнечность и благоухание—все для тебя. Ты пришел, позвал и я пошла, не спросив, кто ты и откуда... Говори! Еще говори!..

Время течет ли, стоит ли?..

Меркнет небо, придвигаются массивы гор, ветви деревьев сделались гуще и растения дышут благовоннее.

Снова подымаются из неведомых глубин есте-

ства пьянящие пары, горячат кровь и льют напряжение в каждый нерв. И снова, как и впервый раз, самодовлеющая личность теряет себя, из двух сливается в одно, чтобы на миг раствориться в единой вселенской сущности...

Уже зажглись вечные маяки на вечном, несуществующем небе; ухает ночная птица: совсем близко, мерцает бледным огоньком гнилушка.

И звезды, и птица, и разложившийся кусок дерева, и мы, два человека, исполняем великую симфонию жизни.

Время течет ли, стоит ли?..

Засвистели пеночки, малиновки; крикнула проснувшаяся кукушка; заалела полоса небесного пожара.

Сидящая со мною, говорит:

— Я пойду,—пора!

Я не задерживаю и не провожаю. Знаю, снова придет. Только, когда доходит до спуска, кричу ей:

— Как звать тебя?

Она, обернувшись, некоторое время молча смотрит, потом громко отзывается:

— Язычница!

И со звонким смехом тонет в ущелье.

IX.

Плывем с Никандром по озеру. Он забыл привезти пороху, а тут, в ближнем аиле, есть у него дружок-алтаец. Может быть, немного перехватим.

Солнце жжет плечи и руки, но от воды прохладно. Местами она слепит глаза и тихо раскачивается густой, слегка дымящейся массой.

По обе стороны—грядами горы. Медленно движемся в гигантской борозде, сделанной гигантским плугом. Прошел этот плуг, и свежая рана земли сейчас же заполнилась водой да так и осталась, сочиться, не зарастая, тысячи лет.

Никандр рассказывает:

— От моря Несыть летела птица камыртка. Перед нею раздвигались горы, расступались леса и все сейчас же заливалось водой. Долетела она до одной горы и села—отсюда и пошла река Бия, а когда снова полетела—началось озеро. Сперва птица свернула было на Камгу, но тут повстречалась Тайга и ударила ее по голове трубкой: тогда она полетела направо и села вон на той горе. Тут и озеру конец.

А у камыртки на голове и посичас красное пятно...

Целый десяток уродов разлеглись один за другим по обе стороны. Огромных, страшных уродов, с горбами, из'еденными временем и разрушенными позвонками, из которых торчит щетина леса. Им вечно тут лежать, бороздить небо и смотреть в воду.

Озеро в предвечерней истоме лениво растянулось и молчит. Слышен только мягкий говор весел да тонкий крик, шныряющих возле берега, куликов-перевозчиков.

В зеленом логу дымятся тонкими, прямыми струйками с пяток юрт. На песчанной отмели—два древних кедра с обнаженными, мощными корнями, несколько опрокинутых лодок.

Я оглядываюсь назад и забываю: о лодке, которую нужно втащить на берег и привязать, о Никандре, о дымящихся юртах.

Все поет: небо, вода, горбуны... Красочная симфония в величавом молчании предвечерия! Перламутровые, серебряные, цвета слоновой кости, иные с рубиновыми, иные с золотистыми краями,—все облака, облака. Вверху и внизу. Местами подымается полупрозрачный туман. Верхи гор частью бледно розовеют, частью синеют, тонко вырезанные в небе. Массивы их затянуты бархатом: темно-зеленым, сине-лиловым, черным. И все горы, с вершин до оснований, пристально глядятся в озеро. В далеке белеет, похожая на облако, безлесная снежная вершина Корбу.

Пролетела стая уток, напряженно вытянувших длинные шеи. В кустах маральника насвистывает одиноко птичка.

— Здраствуй, Опопонак! Мамад дома?

Оглядывает узкими, раскосыми старческими глазами, затягивается из длинной трубки и, сплюнув мне на сапог, обращается к Никандру.

— Аткуда екал?

— Сверху!

— Эге! Чолышман!.. Куда екал?

Получив ответ, мычит:

— Мм... Мамад плыл Артыбаш.

Он протягивает ему трубку, обтерев конец чубука ладонью, и ждет, когда тот, раза два затянувшись, возвратит ее. Потом подымает редкие, воткнутые в губу щетинками, белые усы и спрашивает:

— Табыш бар? (есть новости)

После ответа, некоторое время молча шарит под истлевшей рубахой, в просветы которой видно дряблое, лоснящееся, никогда не мытое тело, и потом начинает выкладывать:

Снизу вверх проплыли два купца и абыс (священник); в Артыбаше, Перка убил двух маралов; на озере появились чужие люди,—живут в палатках, собирают зачем-то цветы и камни.

Последнему сообщению он придает особенное значение и ждет, что мы на это скажем. Но мы ничего не знаем и мало этим интересуемся.

— Надо сходить к Касиму, может у него арачка есть. С устанки выпить по чашке не мешает!—говорит Никандр, вытирая рукавом лысящийся лоб.

Поднимаемся на гору, где под двумя старыми лиственницами стоит касимова юрта. Налево—расписная чаша озера в оправе гор; направо—долина и пяток берестяных, остроконусных юрт, и от острия каждой—голубоватая косичка дыма...

У Касима темно и тесно. Вокруг очага разместилось все его семейство, чинно, с поджатыми ногами. Против входа—он сам, на хозяйском месте, рядом, по левую руку мать, полуслепая, дряхлая, с отвислыми, обнаженными, грудями, потом: жена, взрослая дочь, двое голых детенышей, и позади, в люльке, еще один.

Касим жалуется: год у него нынче худой. Зимой пали три коровы и оглохла мать, недавно утонул зять. Про него он говорит:

— Якши кижи (хороший человек)!.. Любил мой девка; карабчил (украл) мой девка! Год был женатом! Мы с ним жил!.. Мой котел поставить ему юрта, он утонул, не дождался...

В кувшине подогревается арака. Хозяйка достает с полки деревянную чашку и, вытерев ее большим пальцем, подает Касиму. Тот наливает в нее пахучую молочную водку.

Пьем все по очередно из одной чашки. Даже плохо видящая, глухая старуха, с удовольствием опускает в теплую, пьянящую жидкость дряблую, трясущуюся губу. Толкуем об алтай-кижи...

Дети заснули, прямо на земле, прижавшись друг к другу голыми тельцами. Старуха тоже храпит, скрючившись у огня и свесив коричневые груди, точно два старых, пустых солдатских кармана насквозь пропитанных табаком.

Под таганом сочно сверкают опепеленные рубины...

X.

— Ганс! Не находите ли вы, что человечеству, по крайней мере, доброй половине его, несущей современную культуру и знания, нужна новая религия? Такая религия, в которой божеством была бы великая творческая сущность, а святынею человеческое тело; в кондаках и тропарях славословились бы Мгновения любви и зачатия, и канонами утверждалась страсть?

Ганс медленно выколачивает трубку, продувает ее и снова наполняет. Отвечать он не спешит. Он никогда не спешит—ни на деле, ни в разговорах, ни даже в чувствах. Точно в запасе у него несколько жизней.

— Восстановление в правах древнего Ярила или Аписа?!.

—Может. быть!.. Тогда красоты и целомудрия было, конечно, больше, чем теперь!..

Лежим оба на траве, голые, купаемся в солнечных лучах и горячем, ласкающем воздухе. В тело влива-

ется истома дня, аромат растений и невидимые соки земли. Каждый нерв, каждый мускул, каждая часть упругаго от солнца и ветра тела, улыбается весеннему дню.

Я думаю: почему, в самом деле, не воспеть в священном псалме летающих сейчас надо мною, двух прозрачно-крылых стрекоз, в параксизме страсти изогнувшихся своими соединенными телами?

Почему не крикнуть всему человечеству, чтобы служило обедню единственно прекраснейшему Мгновенью зачатия новой жизни?

Ритм душ, трепет нервов, аромат тел в ярком, обжигающем содрогании соединяются в один ослепляющий порыв, чтобы родить новый мир, новую мысль, новое божество.

Как не воскурить фимиам этому Мгновенью?!

Все самое красивое, самое сильное, самое сладкозвучное, самое благоуханное,— все только от любви! А миг его проявления—в слиянии двух существ.

Как мы до сих пор не поставили ему алтаря? Как не славословим его?

Благоухает цветущая поляна, манит к себе цветами, тысячами разнообразнейших растений. Для человека ли она благоухает? Может быть, для неба, для гор? Она для любви своей благоухает! Только для любви! Для маленьких, крылатых посредников ее, переносящих от цветка к цветку любовный поцелуй, брачную пыльцу.

В роще поют птицы, в болоте квакают лягушки и ночью в бору ухает филин...

Может быть, скажешь—птицы поют для тебя, филин пугает и лягушки дразнят тебя?

Нет! Не для тебя! Не для темной, всегда немного жуткой ночи, не для грустной вечерней и радостной утренней, алых зорь.

Они поют, кричат, каждый по своему,—для себя, для своей любви! И голос филина и лягушки для самок их прекраснее' всех голосов!

В девственной долине, в одиночестве гор слышится звонкий трубный звук, повторяемый эхом. Это олень призывает на битву соперника своей любви. И тот, заслышав звук, бежит, может быть, на последний смертный бой.

В лесу слышен крик тетерева. Расхаживает он, полный огня и страсти, и громко зовет всех, жаждущих любви. Пусть слетаются и каждый сразится с ним. Только через победу достанется любовь.

И летят, один за другим, соперники, и один за ругим вступают в бой, в сладостной надежде победить и получить краткий любовный миг награды.

Как не прокричать об этой любви, источнике мужества, бесстрашия, силы и красоты?!.

Из темного улья вылетели сотни молодых, сильных, красивых трутней, и среди них—одна, единственная, мечта их вожделений, идеал любви. Они знают, что всех их ждет смерть, и даже того избранника, который получит первый и последний любовный порыв молодой царевны, и, умирая, оставит навеки в теле ее свою оплодотворящую часть. Но, увлекаемые страстью, они летят на верную смерть свою, как на вечный пир, ибо ей предшествует краткий миг любви!..

Возле маленькой норки самка--скорпион подкарауливает своего самца; на узоре паутины паучиха ждет любовника. И скорпион, и паук смело и радо-

стно идут на брачный пир, зная, что там их ждет смерть—оплодотворенные ими самки, пожрут их...

Как не воспеть—что сильнее смерти?..

— Ганс! А все человеческие искусства? Разве они не от любви? А великие достижения мысли? Безумство фантазии, порыв вдохновения,—разве все это не действие пола?

Почему же тогда любовь в сокровеннейшем своем моменте, величайшем из всех таинств и чудес вселенной, так осквернена человеком?

Я хочу сладчайший, чудеснейший момент этот возвеличить! И тогда люди будут так же целомудренны и святы, как все целомудренно и свято в природе!..

Ганс лениво подает голос.

— Человеческие искусства!.. У павлина пестрый хвост, знаю—от любви; у индюка на голове лиловые бородавки и на носу кишка—то же для обольщения женского сердца. Но искусства! Это еще под сомнением! он не спеша поворачивается, подставляя солнцу загорелую спину, и тянется за трубкой.—Может быть, их даже и не нужно! Я вот и без них чувствую себя недурно!.. А любви, конечно, нечего стыдиться. Только в своей религии вы меньше отводите места женщине. Главное—это мужчина, и девять десятых ему, его личности, так как все от него.

— Вы неправы! Ее место одинаково с мужчиной, если не больше!

— Не согласен!.. Восемь десятых, и никаких икон ее телу!—он подымается и, раскачиваясь, направляется в юрту.

XI.

С утра подсказывает мне сердце: «она сегодня придет!»

Я говорю Гансу:

— Сегодня ко мне придет женщина. По крайней мере, я думаю, что она придет.

Ганс пристально смотрит на меня, но не удивляется.

Пускай приходит, это его нисколько не касается. Мешать он не будет, только не мешали бы и ему в его одиночестве...

Он идет в юрту и возвращается с ружьем и сумкой. На минуту задерживается.

— Это та, что в мужской рубахе, с сетками?

— Откуда вы знаете?

Чуть-чуть улыбается

— Я несколько раз видел ее,—сказав это, он поворачивается и медленно идет к лесу, делая большие, редкие шаги.

Где он видел ее? Почему об этом не сказал раньше?..

Плавает в небе ястреб, делая огромные круги, то взмывая, то скользя по широкой спирали.

Не тот ли, что во время дождя сидел в уступе скалы? Может быть, узнал меня и рассматривает со своей недоступной высоты. Зрение у него таково, что оттуда он может свободно разглядеть пуговицы на вороте моей рубахи. Конечно, он видит, что на лице моем написаны любовь и ожидание, хотя я и лежу в непринужденной, ленивой позе.

Любовь и ожидание! Так знакомо и понятно ему!

Подлетела маленькая птичка, бегает, перебирая проворно тоненькими ножками. У нее изящная головка и длинный покачивающийся хвостик. Черненьким глазком с любопытством всматривается в меня.

Птичка-трясогузка, не видала ли ты девушку с русыми волосами? Если видела, то вернись и скажи ей, что я жду, давно жду!

Нет, я не жду! Просто лежу, пью солнце и слежу за движением своих чувств и мыслей.

Протанцевала надо мной бабочка,—крылья, как пленка морской раковины. И, коснувшись на одно мгновение моего плеча, скрылась,—мало ли по сторонам всяких цветов!

Стало неожиданно грустно.

Может быть, с ней прилетел одинокий вздох чужой или близкой мне души. Может быть, с нею связано какое-либо грустное воспоминание, не дошедшее до поверхности сознания. Но возможно, что она принесла будущую тоску мою и прикосновением своим опустила внутрь. Когда-нибудь всплывет. А сейчас только дохнуло осеннею струйкой, кольнуло звоном вдаль уносящегося колокольца.

Загудел солидно шмель. Он давно уже гудит, но я только сейчас понял, что слышу его. Струят букеты запахов цветы и травы; от костра потянуло дымком. И мне снова весело; жизнь несет любовь и радость.

...На груди у нее цветок ириса и на устах для меня улыбка.

Жизнь необычайно прекрасна и ароматна...

Знал я двух юношей; может быть, очень глупых юношей. Оба они слышали, что любовь похожа на вино.

Один из них, чтобы сделать напиток крепче и пьянее годы выдерживал его в подвалах своего терпения. А другой стал пить маленькими глотками, чтобы растянуть его на дольше.

Но, увы! У первого любовь прокисла, а у второго,—второй потом утверждал, что в ней нет алкоголя; она похожа на лимонад...

И еще я знал одного человека, который в любви своей был похож на пьяницу. К напитку он подходил с отуманенным взором и возбужденными нервами. Пил стакан за стаканом, безжалостно расплескивая его трясущимися руками. Пил до тех пор, пока ни чувствовал пресыщения, или не выпивал весь напиток. После чего страдал долгим, тяжелым похмельем.

Пожалуй, я очень похож на этого человека...

Нет, не буду теперь расплескивать драгоценное вино!..

Слышатся мягкие, короткие шаги. Конечно, это она!

— Как хорошо, что ты пришла! Я был уверен, что ты сегодня придешь; даже именно сейчас, когда солнце в зените! Видишь, от меня теперь самая короткая тень!

Прижимается.

— Я давно не была у тебя. Кажется, три или четыре дня.

— Нет, гораздо дольше! Когда мы сидели с тобой вон в той роще, было,—я хорошо это помню,—воскресенье.

— А сегодня?

— Сегодня,—улыбаюсь,—сегодня тоже праздник.

— Как ты узнаешь праздники? Разве здесь, в горах, не одинаково текут дни? Или ты их считаешь?

— Я считаю дни?.. Я годы не считаю!.. Праздник у меня тогда, когда душа ликует! Не было тебя, и думалось—очень много времени прошло с твоего ухода. Но вот я смотрю в твои глаза, слушаю твой голос, и кажется, что уходила ты всего только на короткую прогулку.

Идем, взявшись рука за руку, пьянеющие от нарастающего счастья. Недвижны деревья, травы; горы в сгустившемся мареве. И каждая пылинка в солнечной волне лучит истому и негу свою.

Не создан ли этот миг для брачных таинств природы?..

Голова ее на моих руках; в ореоле вспененных волос, трепещет, покрытое бледностью, лицо ее, и в глазах овлажненных глазах, вижу голубое небо и на фоне его—маленького себя.

Потом уже ничего не вижу...

XII.

Она приходит и уходит, когда хочет. И я никогда не зову, не спрашиваю ее. Уходит так, как будто навсегда уходит, а когда снова приносит свою любовь, то кажется, что приносит ее впервые. Всякий раз новым ароматом дышет эта любовь; в неостывающей страсти, все новые, обжигающие вспышки. А душа, по мере того, как я всматриваюсь в нее, кажется все глубже и глубже. Не хватит лота моего, чтобы измерить до дна.

Женщины в моей жизни много значили, даже

когда их не было в поле моего зрения. Я подходил к ним, как к цветам, которые привлекали и богатством формы, и яркостью окраски, и нежностью переходящих тонов и безконечным разнообразием ароматов; как к цветам, в чашечках которых скрыта непостижимая тайна вечно женственного, тайна пола и духа. Подходил, как к источнику на грани бытия, в котором бесстрастные души, блуждающие в пустыне доначального, обретают человеческую жизнь с ее радостями и скорбями.

Женщины привлекали меня каждая своим и по своему. Но ни одна из них не могла сказать, что владела моими волею и душою дольше того, сколько потребно это для краткого мига любви. Сходясь с ними безсчетное число раз, отдавая им свою страсть и нежность, я ни одной из них ни разу не произнес трепетно-сладостного „люблю".

Правда, я этого слова и теперь еще не сказал, и, вероятно, не скажу. Но что значит слова, когда сейчас все мое естество ликующим бытием своим кричит об этой любви. Когда непрерывно излучающаяся мысль моя разносит это всему миру!

В яркие, солнечные дни, в долине, мы слушаем шопот деревьев, вздохи земли, изнеженной лучами солнца, и внемлем душистой молитве цветов; подсматриваем у природы ее сокровенные тайны.

А в часы мягко ступающего вечера; в часы нарастающего окрест брожения творческих земных соков,—она становится ближе мне и роднее. Тогда душа моя растет, ширится, и льется из нея, как из переполненного бокала, пенистое вино слов.

Как-то я рассказал ей:

— Великий Гаутама рождался пятьсот пятьдесят раз. В течении бессчисленных веков приходил он на землю, чтобы уничтожить на ней страдания. Четыре раза он являлся Мига-Брамой, двадцать—в виде девы Секра; и многое множество раз мир видел его во всевозможных образах и состояниях: царя, раба, отшельника, обезьяны, быка и прочее, и прочее.

И когда он явился высшим Буддой, и душа его, познавшая истину, стала благоухать, подобно сосуду с медом, тогда он провозгласил: „Отныне нет страданий! Я победил страданья и самую жизнь!..“

Как раз проходила тут девушка, взглянула и улыбнулась. Может быть, своей молодости улыбнулась. Будда увидел эту улыбку и—утвердил.

Одну только улыбку.

И на земле осталось все, как было, попрежнему...

В другой раз я рассказал ей следующее:

Двое мужчин любили женщину. Любили страстно и напряженно, как только могут любить мужчины. Один из них встречал взаимность; любовь второго была без отклика: его возлюбленная даже и не знала о ней. Оба умерли, не изжив своей любви.

Первый в дневнике своем написал:

«Любовь принесла мне часы ярких переживаний, огонь взаимных ласк, нежность и тихую, ясную радость. Проводя вечера и ночи со своею возлюбленной, я был счастлив, ибо чувствовал биение ее сердца и сладкий аромат ее тела. Моя душа была всегда с нею и для нее».

В отрывке второго значилось:

„Благословляю судьбу, пославшую мне мою любовь! Я ни одного любящего взгляда не видел на

себе моей возлюбленной и, тем не менее, бесконечно счастлив. Мне это не мешало любить и ставить превыше всех женщин ее, мечту мою. Каждый час, горя к ней неразделенной любовью моею, любя ее своим страданьем и тоской, я поднимался на самые высокие грани человеческой творящей мысли. Я приближался к божеству!..“

Не знаю, почему это я рассказал ей. Может быть в неизведанных глубинах души моей кто то выразил первый слабый протест личности. Я лишь потом, много времени спустя, подумал об этом. Тогда же только выразил случайно мелькнувшую мысль.

Сзади стоял Ганс; я не видал, когда он подошел. Неторопливо и, как мне показалось, необычайно серьезно, он высказал:

— Хотелось бы мне посмотреть на второго: очень любопытный тип,— повернулся и медленно пошел, снова к лесу, насвистывая.

— Ганс! Не уходите! Сейчас будем пить чай. Ганс! Я с вами хочу говорить о многом!..

XIII.

Уже четыре дня, как ее нет.

Я совсем не думал об этом. Сидел возле юрты, на лужайке и, жуя травинку, смотрел в небо. На горных вершинах тяжело и мягко шумело, внизу стрекотали кузнечики. Один из них даже прыгнул мне на сапог и усиленно заскреб длинной ножкой по тонкому крылышку. На коленях у меня валялась тетрадка и карандаш. И я не знаю, как написал эти шесть слов: „Уже четыре дня, как ее нет!..“

Прочитал и сразу весь отдался ей. Давно бы надо притти. Еще вчера или даже третьяго дня, а ее нет и сегодня.

Верстах в пяти отсюда, по берегу озера, есть интересное место: на каменном откосе березовая роща с одинокими кедрами, и внизу кусты маральника.

Давно мне хотелось сходить туда. Пойду, пожалуй, сейчас. Сегодня, пожалуй, следует мне пойти туда!

Солнечные лучи скачут сквозь ветви на лицо, на плечи. Шагаю по колеблющемуся золотому узору. Узор ли это пахнет или густая сочная трава?..

Каменистый увал... Долина—и внизу три белых пятна; курится костер...

Ах, да, я слышал об этих палатках! Мне говорили о них...

Почему так дрожат колени и стучит в висках?.. Нет! Не затем я сюда пришел! Просто захотелось побывать в этом красивом местечке, которое видел с озера!

Неторопливо шагаю по серой, каменной осыпи, меж кустов таволожника и кислицы. Снял ружье: может быть, вспорхнет стая каменных рябчиков...

Какой удобный и короткий спуск... Нет! Не она меня сейчас интересует!..

— Здравствуйте! Давно хотел познакомиться! Живу здесь, в горах; охотник...

— Очень рады! Слышали о вас, удивлялись и завидовали.

— Даже!

— О-о! Еще бы! Чудесно! Здесь великолепная охота! Маралы, каменные козлы, россомахи; много медведей.

— Да, здесь есть маралы, каменные козлы, медведи... Вы недурно устроились. Повидимому, не все сотрудники дома?

Сидим у костра—четверо мужчин и две женщины. В котелке что-то пенится.

Солнце уже окунулось в горы и на все надвигается синеватая тень. Заалел гребень соседней горы. Показался мужчина с удочками и ведерком. Идет прямо ко мне, устремив пристальный, пытающий взгляд. На нем тяжелые ботинки с большими, выдавшимися гвоздями и серая шляпа. Подымаюсь и жду. Мы уже протянули руки и не сводим друг с друга глаз. В обоих напряжение воли и чувств. В первый раз в жизни встретились, но чувствуем, что между нами что-то лежит, кем-то, когда-то, без нашего ведома, брошенное. Я сознал это ясно, едва взглянул в его красивые, темные глаза. Я прочитал в них для меня одного написанное: ненависть, страх и гордый вызов. Мне было только остро любопытно. Я спросил:

— Неправда-ли, ведь мы видимся только первый раз?

— Да, только первый раз.

— И никогда не подозревали о существовании один другого?

В моем голосе он уловил насмешку и, не сказав ни слова, отошел.

Уже ночь. Я медленно поднимаюсь по знакомому склону. Тихо шумят на верху деревья; в стаде звезд—бледнорогий, худенький месяц. В голове бесстрастно скользит: «На ущербе рыба хорошо ловится»... Как чувствует себя тот русый мужчина? Сколько бессонных ночей проведет он теперь! Всякий раз после ее

ухода он будет метаться в безумии своего чувства, вызванными картинами жечь мозг и отравлять радость!

Я останавливаюсь и смотрю вниз. В далеке, на черном фоне, ярко выделяется красная точка костра. Мне хочется крикнуть туда, этому человеку:

— „Знаешь-ли ты, что такое женщина? Это родник в знойной степи жизни! Подходи и черпай пригоршнями бодрящую влагу или припадай к ней лицом своим. Утомлен ли ты большим переходом или только еще начал свой путь, и в тебе много огня и силы,—склонись: одинаково будет сладостна живоносная влага.

Видишь, ты отразился в нем! Красивый ли ты или уродливый, злой или добрый—не скроешь—весь ты отразился!

Не замути источника нечистыми руками, не отрави ядовитой слюной твоей,—оставь таким же, каким был до тебя! Тысячи людей идут той же дорогой, и все они жаждут живящей влаги!..

Я не оставляю в нем осадка моей ревности, ибо нет ее у меня! Я подошел к нему с ясностью в душе и уйду радостный и благодарный!..

*

Утром, совсем рано утром—услышал я зовущий меня голос. Когда подошел, она сказала:

— Зачем ты приходил туда? Ах, как больно ты сделал мне своим посещением!..

Я перебил.

— Ты слышала, как я вчера кричал с горы?

— Когда?

— Ночью, когда уходил оттуда.

— Не слыхала, и никто не слыхал.

— Жаль! А я кричал о чистом источнике! Впрочем, только душа моя кричала!

Она счастливо, ясно улыбнулась и не стала больше укорять.

XIV.

Странно провожу я время. Мои городские друзья сказали бы, что это преступно. Я, как пьяница, как мот, проматываю свои дни и вечера. Не всматриваюсь вперед, не оглядываюсь назад, живу чувствами и мыслями, рожденными текучим мгновением. Все вошедшее в меня, хотя бы на короткий миг, великое и ничтожное, разумное и глупое, трагическое и смешное, прекрасное и уродливое,—методически нижется, как жемчуг, на нитку моей памяти. Все, как жемчуг, потому что в природе все возвышенно и прекрасно, нет ни малого, ни смешного, ни уродливого...

С утра до ночи брожу я везде и всюду, ощущая радостно бытие свое. Хожу по тайге, прокладывая в густой, высокой траве, как большой таежный зверь, глубокие броды; поднимаюсь на гривки гор, по которым иногда тянутся на целые версты безлесные полосы, напоминающие трактовую дорогу,—но гуляют по ней только медведи. Они похожи еще на прямой пробор волос. В просветы оттуда открываются чудесные виды. И я только один, на целые сотни верст только один, любуюсь ими. Любуюсь и славославлю мудрую и великолепную природу.

Только с этих высот и познаешь ее торжественное величие.

Иногда стою часами у водопадов, смотрю на их живую, водяную стену и радужную пыль над нею; пробую рукой тепловатую, почти сухую пену, в которой кажутся взбитыми: молоко, изумруд и сливки.

Нередко, спускаюсь на дно тесных ущелий, где горные потоки с непрерывной злобой грызут свое каменное ложе, прогрызая в нем пещеры, тунели, бесчисленные ноздри.

Но больше всего меня привлекает все-таки озеро.

Единственное, не похожее на другие—озеро, живущее своей, особой, будто одухотворенной жизнью.

Иногда береговые горы начинают куриться, точно на вершинах их разжигают гигантские костры. Часто туман рождается и в логах и тоже ползет медленно по верхушкам деревьев, взбираясь все выше и выше.

Тогда быть ненастью. Пойдет дождь, и будет продолжаться день, два, а то и целую неделю. Настоящий осенний дождь, хотя и стояло бы лето. Тучи лениво идут с запада. Все идут и идут тучи-стада, сгоняемые со степных пастбищ к горам. Небо тусклое, набухшее, тяжело опустилось на горные хребты.

В эти дни озеро становится скучным. Смыты яркие краски, потускнели благородные тона далеких гор, утрачена увлекающая перспектива фиолетовых далей. Над всем полинявшая серая сетка. Дует ветер, все с одной стороны, гоня по озеру однообразные, безцветные валы, и так же однообразно, со скучным шумом, дробит их о скалы.

В эти дни озеро похоже на дряхлого, ворчливого старика, надоевшего и окружающим, и самому себе.

Но бывают часы, когда оно вскипает благород-

ным, быстро тающим, гневом юноши и глубоким, жутким гневом зрелого мужа.

Небо—безоблачно; ласкают взгляд мягкие краски гор. Вода озера—атлас, посредине голубой, сверкающий, а у берегов переходящими тонами: темно-зеленым, серым и цвета старой бронзы. Водная даль—и справа и слева—лучится. Вот, на самой дальней черте неожиданно появилась узкая темная полоса. Она медленно приближается и растет; уже стало видно ее шероховатую поверхность.

Несколько минут спустя полоса эта подойдет вплотную, с большими волнами, за которыми идут еще большие, а за этими, с рокотом движутся огромные, пенистые валы.

Через полчаса эта полоса „верховки" пройдет, и озеро снова станет на некоторое время тихим, пока ни появится на противоположном конце другая, такая же темная полоса „низовки".

Нередко они сталкиваются, и между ними начинается борьба. Красивая борьба двух сил, рожденных случайным порывом ветра. Белые валы от взаимных ударов высоко взметываются, отходят назад и снова устремляются друг на друга. Их рев несется к горам и повторяется многоголосым эхом.

«Низовка» почти всегда оказывается победительницей, и вскоре после этого опять разглаживается серо-голубой атлас воды.

В память мне ярко врезалась одна ночь. С вечера было тихо и небо безоблачно. Вскоре из-за хребта соседней горы показалась луна, огромная, ясная, с четким контуром на густо синем бархате. Верхи гор засветились, от подножий их на озеро

пали смоляные тени. А там, где лунный свет касался воды, там расплывалась широкая полоса ртути.

Не хотелось спать. Я брал из потухающего костра красные головни и, покружив их над головой, бросал высоко над озером. Точно ракеты летели они с шумом и треском, рассыпая искры. Потом, протянув огненную дугу, падали в застывшую воду. Та вздрагивала и загоралась миллионами живых огоньков.

После этого подул ветер снизу, вскоре сменившийся верховым. На озере ползали ряды волн. Небо затянулось черными тучами, сквозь которые слабо мутнело пятно луны. Но затем и оно скрылось. Была только тьма и вой невидимых волн.

В этот момент и началась гроза.

От первого, беззвучного взмаха огненным жгутом, мне показалось, что раскололась соседняя гора. Раскололась сверху донизу, даже глубоко под водой. В том месте, где скользил этот жгут, ясно обозначились деревья. Видно было, которые из них хвойные, которые лиственные.

Спустя некоторое время, раздался и звук удара. Он потряс всю окрестность. Будто рушились горы; слышался даже треск леса и дробный бег срывающихся камней.

Второй удар был по воде, прямо в средину озера. Сверху в него воткнулось сразу больше десятка, раскаленных до бела, железных прутьев На момент вода загорелась на всем видимом пространстве. Каждый гребень засверкал ослепительным светом.

Вслед затем стало черно и зарокотали горы и вода, длительным, переливающимся рокотом.

И озеро всю ночь бушевало, соединяя свой рев с воем ветра и грохотом грозы...

А утром все было тихо, только виднелась легкая зыбь да на отлогий песчаный берег ворчливо вкатывались пенистые гривы прибоя...

XV.

Итак прошла уже часть лета! Я только сегодня это заметил, когда ходил по прибережному кустарнику на старой речной дельте. Тут, среди зарослей черемухи, рябины, ивы и жимолости есть небольшие поляны, сплошь в цветах. По цветам я неожиданно для себя увидел, что весны давно уже нет, что миновала и часть лета.

Вот, зацвел фиолетовый левкой, сверкает золотистым лучащимся венчиком горицвет, разбрызгана белыми капельками скромная звездчатка, тянется к солнцу вероника. Я давно видел ее разцветшей, но как-то не удосужился подойти поближе.

А у пышно пунцового пиона, месяц тому назад украшавшего вместе с ирисами и огоньками луга и поляны,—пора любви уже отошла. Он отягощен плодами, бережно запертыми в звездчатые коробочки. Близко время, когда все пять дверец этих коробочек раскроются, и на землю упадут спелые горошинки, несущие новую жизнь.

В кустах рдяно сверкнули гроздья красной смородины—уже поспела. Попался огромный, выше моего роста, стебель аконита с голубеющим цветком на стрелке. Он только еще просыпается для радости и счастья и, тихо покачиваясь, ждет к себе вестников

любви. А те, наполняя поляны жужжанием и звоном, празднично кружатся и танцуют, пульками стреляют с цветка на цветок, перенося брачную пыльцу,—источник новых бессчисленных жизней.

На ветке черемухи сидела птичка,—не разглядел, какая,—и с нею два птенчика. Они неуверенно, робко перепорхнули за нею на другое дерево. Каким диковинным и шумно-пестрым, вероятно, кажется им мир...

Итак, уже миновала часть лета!..

XVI.

— Вчера я встретила Ганса—спускался логом к озеру,—сказала как-то Язычница, шаловливо бросая в воду камешки.

— Да, Ганс любит бывать здесь.

— Я встретила его в этом же месте и три дня тому назад.

— Да, Ганс очень любит озеро,—повторил я и тоже стал бросать в воду камешки...

Позднее, я сидел у костра, неподалеку от Ганса и думал: „Милый мой Ганс! Вы слишком долго жили в себе, в своем одиночестве. О, как это хорошо и вместе с тем страшно! Мне хотелось бы сказать вам несколько дружеских, интимных слов, но вы не поймете меня. Теперь вы не поймете меня!..“

— Ганс! Я вчера видел медведя. Не хотите ли пойти вместе—может быть, опять встретим?

— Я готов! Идемте!.. Где видели?

— В кедровом лесу, недалеко от лога.

— Странно! Я не думал, что туда заходят медведи!

— Почему бы им не ходить туда? Везде гуляют. Запретить им не можем.

— Я хочу только сказать, что они предпочитают ходить там, где больше для них пищи,—ответил спокойно Ганс, застегивая пояс с патронами.

Мы обходили весь участок, а медведя не видели и ни что не напоминало о его пребывании. Возвращались усталые, проголодавшиеся.

— Как жаль, что не встретили! Но я уверен, что если завтра притти сюда, то можно встретить!

— Вы так думаете?—полунасмешливо спросил Ганс.

— Если не завтра, то после завтра, наверно, только нужно ходить по одному и тому же месту и непременно скрытно, как это делают влюбленные, но трусливые юноши.

Он шел немного позади. Кругом возвышались огромные кедры, под ногами попадался бурелом. Вдруг неожиданный выстрел, и меня кто-то слегка ударил по шляпе. Я снял посмотреть. В верхней ее части была маленькая дырочка. После этого я все время старался быть немного впереди и прислушивался к раздававшимся сзади шагам. А Ганс, медленно, тяжело ступая, что-то насвистывал.

Когда я начал греть чайник, он, как бы вспомнив, сказал:

— Я своим выстрелом, кажется, напугал вас? Совсем рядом пролетел дрозд... к сожалению промахнулся.

— Ничего! В другой раз будет без промаха... Дроздов тут много...

XVII.

Впереди, на гнедом коне трясется узкоплечая фигура Касима. Едем по ущельям и узким логам, через сопки и увалы, все выше и выше. Кедр, пихта, лиственница, кой-где береза. Между толстых, прямых стволов курчавится черемуха, вьются упругими спиралями, все спутывая, дикий хмель и алтайская лиана.

Я кричу в трясущуюся спину:

— Касим! Далеко еще?

Гнедой конь сразу переходит на шаг. Касим неторопливо вынимает из-за пояса коженый кисет с бахромой, потом огниво в медной оправе. Закурив, переводит на меня узкие, черные глаза:

— Мало-мало подходя!

Помолчал и снова соблазнительное:

— Гуляй там будет! Много арачка, много махан!..

В горной долине пять остроконусных юрт и широкие клетки загонов. А с трех сторон стиснули лесистые и голые массивы, упершиеся в безоблачное, яркое небо.

Кучка мужиков втыкает шесты с белыми ленточками, вкапывает подчищенные березы; двое плетут волосяную веревку.

— Эзендер! (здравствуйте).

— Эзень, эзень!

Широко зевнула скрипучая дверь, и в черной дыре—старушечья голова с двумя седыми косичками. Оба шагаем туда, через порог, тонем в дымной мути.

Направо, налево—все одинаковы. Полусогнувшиеся, с поджатыми ногами, сидят в два ряда, молча меняются трубками и звучно, сквозь зубы, цыркают в огонь.

— Здраствуй! Гости приехал? Нашему богу молиться? Якши, якши! — Кто-то подвигает кошму и усаживает рядом с собой.

Потрескивает костер; у огня большой медный чайник.

Первую чашку хозяин подает сидящему рядом со мной, но тот передает ее мне:

— Пей! Рус кижи якши! Алтай закон — якши!

Большая деревянная чашка с теплой аракой медленно переходит от одного к другому, проясняет лица, развязывает языки.

Молчалив и сосредоточен один только большеротый, с медными глазами Эзи в большом, висящем позади меня, бубне.

*

Тускнеет небо, за щетиной леса на каменном кряже заалела узкая полоска. В загоне топчется только что пригнанный табун. Двое с волосяным арканом перелезли через изгородь и тихо крадутся. Сверкнула, жутко извиваясь, мертвая петля — и одна из кобылиц, серой масти, судорожно задергала шеей. На веревке тотчас же повисло около десятка людей. Храпящую, вздрагивающую, делающую бессильные попытки освободиться, ее повели и привязали к одной из берез. К другим привязали еще двух: Ульгеню, Алтаю и духу — Ыик.

К четвертой березе подвели белого барана. Это — Актяйзану, Белому Зайсану.

Вышел кам, в высокой барашковой шапке с пучком совиных перьев; стал на белую кошму. Перед ним: кадка с чегенем, корытце с разведеным толканом, ведро молока и несколько бутылок араки.

Курятся две кадильницы с сухим вереском, колышутся на бичевках белые ленточки.

Кони рвутся, падают на колени, дрожат, хрипло ржут. Но вокруг все спокойны; равнодушно, молча покуривают трубки. Равнодушно слушают скачущие, гоняющиеся друг за другом, гортанные звуки.

Небо померкло; из ущелий ползет туман; сделалось прохладно... Потянули от березы белого барана. Вскоре задымились голова и части внутренностей. А мясо пенилось в кипящем котле.

*

Ночь. В юрте. Опять ни слова, ни одного лишнего движения. Вокруг только мужчины; три ряда. Перестали даже меняться трубками. Кам на белой кошме не движен, смотрит поверх голов. Молодой алтаец, умыв руки, начинает сушить бубен. Беспрерывно повертывает его над огнем, пробует, ударяя мягкой колотушкой, и опять сушит. И ни звука вокруг. Только за стеной шарят по земле губами лошади приезжих.

Бубен готов—гудлив и звонок.

Кам встрепенулся, согнал с лица задумчивость и тихо провел мягкой орбой*), по певучей коже. Полилось негромкое, мелодичное пение, разливая странно-жуткое очарование.

Усиливая звуки, кам поднимается. Глаза горят. На желтых, впавших щеках красные пятна. Высоко вскинув бубен, вертит им, медленно обходя вокруг костра.

„Пылающий огонь, соединяющийся с миражем от земли и доходящий до небес, трехножный каменный очаг“...

*) „Орба“—колотушка, обшитая кожей с ноги марала.

Согнувшись, припадает ухом к тихо гудящему бубну. Не голос ли это хана-Суйлы?*) Нет!..

— Катту толду каан Суйла-каан,
Аттар окту тургены болгон...—
„Суйла-хан, язык которого тверд,
У которого кони быстры, как стрелы,
Речи которого подобны книге;
Который ничего не боится,—
Будь ходатаем за меня пред Ульгенем!“

Тесная юрта полна призывных звуков, бряцанья и стона упругой кожи. Все склонились, дымят трубками; на лицах ползающие красные блики.

Завертелся, затопал ногами; в поднятых руках крутится бубен,—полетел в заоблочные сферы, где носятся чудовища, производящие громы и живут козлы с саженными рогами. Путь длинен и опасен, но впереди хан-Суйла

Тихо звенит и бряцает бубен; тихо льется волнующая песня. Кам снова обходит костер и направляется наружу. Теперь понесся на третью небесную сферу—„алгагала Бай-кани“, где стоит священная береза зародышей жизни. Выше каму нет пути: начинается „куй-гечкидип иери“—вечное сияние солнца. Туда полетит один только хан-Суйла, чтобы узнать от ангела Уткучи, будет ли принята приносимая жертва.

Наруже—черно-синяя ночь. Слабо намечаются силуэты придвинувшихся гор. Звуки, разрастаясь, наполняют долину, со всех сторон окликаются гулким

---

*) Хан-Суйла—ангел, сходящий к каму (шаману) с неба во время камлания. Он сопровождает кама на небо и в ад, указывает жертву, говорит о болезни и проч.

эхом и несутся в нестройном, безумном хоре к близкому, доступному небу.

Кам, утомленный, летит обратно. На молочном озере «Сють-коль» плавает гусь—Конур-кос—с тремя птенцами. Он садится на одного из них и, подражая крику птицы, направляется в юрту:

— Уч балалу Конур-кос,

Ынып, ынып, кагак, кагак!..

Вертясь, подходит к своему месту. Лицо бледно, глаза ввалились и полузакрыты. Пение тихо угасает. Тяжелая фигура устало опускается на кошму...

XVIII.

Сегодня природа в новом, неожиданном наряде,— лучится, сверкает, праздничная, веселая. Через час его не будет. Но пока все в серебре. И выгоревшая трава, и одинокие, обветренные лиственницы, и обглоданные непогодами юрты,—все в матовом серебре инея.

Хочется стать на безмолвной поляне, поднять руки и запеть сильно и радостно, как пел вчера кам, возвращаясь из своего путешествия.

Долго хожу по сонному аилу. Кругом безжизненно; словно изваяния стоят у берез жертвы. Ни одного звука. Никто не приветствует восходящее солнце. А оно из-за гребня леса уже вылило на поляну поток яркого света. И поляна задымилась, темнеет, покрывается лаком.

Показалась молодая алтайка с деревянным подойником.

— Доброе утро, красавица!..

В юрте еще спят. Вокруг огня—десять мужских полуголых тел, едва прикрытых короткими, рваными шубами.

Подымаются, начинают умываться: набирают в рот воды и, выпуская ее, водят ладонью по лицу. Потом садятся перед огнем на корточки сушиться...

Наруже все ожило, шумит. Деловито перекликаются степенные мужские голоса; черный старик распоряжается приготовлением к торжеству.

Возле маленькой речушки сооружают «таилгу»: высокий столб с раздвоенным концем и на нем длинная жердь с поднятым верхом. Рядом—навес и две пары высоких шестов, соединенных бичевкой с ленточками. Это „тэкпыш"—лестница в небо, по которой будет подниматься душа жертвы. На конце каждого шеста птички из теста..

Из темных логов, с горных круч медленно текут гости. На женщинах «чегедыки» (национальная одежда), на мужчинах—островерхие лисьи шапки с кисточкой и шубы крытые парчой и шелком. Едут важно, неторопливо, в седлах сидят прямо.' Мужчины сворачивают к таилге и с поклоном кладут у ног кама жертву—«ташаур» араки. Женщины направляются к двум крайним юртам, где второй день алтайки гонят из молока водку. Присутствовать на камланиях Ульгеню им нельзя.

Понеслись звуки, отрывистые, звонкие, и долина наполнилась переливающимся гулом.

Толпа стоит бесстрастная, молчаливая; изредка меняются трубками. Неожиданно примешиваются два крикливо-гудносые голоса. Будто на спор, гонятся друг за другом, захлебываются, и так же неожиданно,

враз, смолкают. И опять один звонкий тенор плавает в прозрачном утреннем воздухе.

„Крови в нем будет с море,

Сало в нем белизной подобно облаку.

Грива и хвост у него в сажень"!..

От толпы отделилось человек пятнадцать с веревками. Лошадь забеспокоилась, забила ногами, заржала. Быстро накинули на морду и на ноги петли и потянули—все пятнадцать человек. Она медленно, беззвучно опустилась на живот.

Звуки все страстнее и громче; все звучнее откликаются горы. И когда все смолкает,—жертва уже недвижна, лежит распятая, неестественно раскинув ноги.

Тело поворачивают на спину и начинают снимать шкуру и разрезать по суставам мясо. Его кладут в котлы. Из кишок и крови,—густой, темно коричневой,—делают длинные колбасы.

А кам в это время угощает всех освященной аракой. Обращаясь ко мне, он извиняется:

— Алтай закон!.. Алтай закон!..

Я одобряю:

— Алтайский закон—хороший!.. Якши!

Улыбается, жмет руку.

— Якши, якши! Алтай закон худа нет!..

И мы, как давнишние друзья, пьем пополам чашку за чашкой пахучую молочную водку.

С жертвой покончено. Жердь спускают и на ней растягивают шкуру. Вниз кладут: горло, печень, сердце, мочевой пузырь. Голову надевают на заостренный конец и в рот зажимают березовых веток. После этого опять поднимают на место. Снова начинается камлание.

Окруженная каймой гор и сопок, долина сплошь залита солнцем. Посредине ее кучка курящихся первобытных жилищ, жертвенник с несущимся в небо белым конем, и под ним коленопреклоненная толпа в ярко-пестрых костюмах с ножами за поясами. Певуче льется благодарственная молитва...

Задымилась на березовых ветках куча мяса и длинных колбас. Заработали ножи и челюсти...

Когда я подымался на горку, сзади послышалось пение. Пели несколько хриплых голосов, каждый свое и по своему. Из крайней юрты показалась старуха в высокой меховой шапке и в синем, с золотом, чегедыке. Увидав меня, она обнажила молодые белые зубы и ласково кинула:

— Эзень болыгар, рус! (будь здоров, русский!)

Я помахал ей шляпой.

XIX.

Из ущелей еще полз туман, поднимаясь кверху. На деревьях и каменных выступах иногда задерживался. И казалось, что они обложены ватой. Было зябко.

В этот ранний час она и пришла,—как всегда, с открытой головой.

— А погода будет великолепная,—смотри, туман поднимается кверху!—сказала она, подходя ко мне.

— Это очень хорошо. Сегодня пойдем гулять.

— Подальше пойдем...

Лежим на песке. Солнце уже успело накалить его и он дышет колеблющимися струями прозрачного зноя. Вода, солнце и ветер, ласковы, и тело жаждет

раствориться в воздухе, напитанном влагою и тонким запахом отцветающих растений.

Язычница подымается, и через минуту, мимо меня пробегает, немного пригнувшись, положив руку на грудь, белая фигура. С разбегу бросается в озеро. Я не смотрю туда. Я гляжу на облачко, пытающееся зацепиться за гребень горы.

Слышен плеск, мягкие удары и звонкий смех. Иногда на глаза мне попадаются сверкающие белые плечи и голова с пучком на-скоро подвязанных волос. В брызгах и растущих кругах отражается слепящими пятнами солнце.

Из воды выходит медленно, направляясь прямо ко мне. Розовое, упругое тело все пронизано светом и от мягкой, танцующей поступи слегка вздрагивает.

Стала и смотрит, сверху вниз, сыплет жемчугом смеха. Во всей—солнечность и радость. Хмелем жизни насыщена каждая частица тела.

— Стой так! Не уходи! Я хочу всю тебя обнять взглядом. Почувствовать красоту и чудо! Человеческое тело есть величайшая красота и чудо!

Стоит недвижно, вся напряженная, живущая и жаждущая жизни каждой своей клеткой; глаза лучатся счастьем.

— Знаешь—странный ты! Я тебя все еще не пойму!..— она, улыбаясь, опускается рядом.—Иногда я всего тебя чувствую. Ты во мне, ты—мой, и я знаю каждую черточку твоего характера. Но что то неожиданно сделается с тобою,—и ты снова чужой, непонятный, которого я совсем не знаю.

— И что же?

— И тянусь к тебе с новой силой.

— Значит, это хорошо?

— Да, это хорошо.

Я беру ее руку.

— Люди часто напоминают книги. В иной содержится увлекательный роман, который читают не отрываясь, а, прочитав, вторично не берут. Другая представляет собрание мудрых изречений, глубоких или эффектных афоризмов,—часто чужих и старых. Есть книги анекдотов, головоломных ребусов, задач; есть лирические поэмы с волнующими образами. И каждая из этих книг, на тот или иной срок, находит своего читателя...

Улыбается. Легонько освобождает руку.

— А что ты скажешь на счет Ганса?

— Что я скажу на счет Ганса? Да, это интересная книга.

*

Вечером, вдвоем, варим похлебку.

— Ганс! Чем заполнена ваша книга?

Не опуская ложку, смотрит.

— Это не я хочу знать! Это интересуется Язычница! Она меня спрашивала об'этом!

Молча мешает в бурлящем котелке.

— Она и о другом еще говорила: видела вас у красного бома—ждали кого-то...

Он быстро поворачивается и смотрит на меня злобным взглядом; лицо подергивается. Потом, отвернувшись, опять принимается за своё.

Через короткий промежуток времени я подхожу к нему и мягко беру за плечо.

— Я хочу говорить с вами, Ганс... Подождите Это всего несколько минут! Вы можете совсем ничего

не отвечать, и так уйти. Но я уверен, что будет иначе.

Он задерживается и начинает молча набивать трубку.

— Так вот я начну. Может быть, это покажется смешным или лживым, думайте, как хотите, но это вполне искренно и глубоко серьезно. Вы ненавидите меня и, может быть, заслуженно. Но что касается меня, моего чувства, то... душа моя тянется к вам, Ганс! Даже тогда, когда я зло смеюсь над вами; когда холодно суров и с виду враждебен. Пожалуй, в эти минуты я к вам более близок...

Он резко поворачивается, забывая закурить, и смотрит насмешливым взглядом. Но за этим я подмечаю пытающее меня, стремящееся разгадать...

На другой день, когда Ганс еще спал, я подошел к пихте, в которую он всегда стрелял, и смерил своим ростом до высоты пулевого отверстия. Дырочка была вершка на три выше головы. Я подложил вниз несколько камней и забросал землей.

Когда он, умывшись, пошел за ружьем, я встал на камни, протянув руку за веткой.

Позади раздался треск и над головой стукнуло. Новое отверстие оказалось на четверть выше прежнего. Я приложил палец и сейчас-же отдернул — оно было горячее...

XX.

Извилистая каменная щель, и в ней кипит, ревет, высоко мечет холодными брызгами, горная река. В осклизших, темно-зеленых массивах выгрызенные ниши

и пещеры, по дну — круглые, обточенные валуны. Левый берег кончается где-то под облаками. Вековой кедрач на нем кажется болотным мхом.

Идем по правому, по зеленой бровке, среди цветов. Впереди, верхом на вьючной, мерно покачивается проводник.

— Я старый альпинист,—говорит профессор.— Поднимался на Монблан, на Юнгфрау; этот под'ем пустяки. Но все таки хорошо, что наши не все пошли—связали бы нас.

В нескольких шагах, широкая спина русого человека в больших, подбитых крупными гвоздями, ботинках. А еще дальше — в ряд две фигуры; одна знакомая, в белой рубашке с вышитым подолом. Я мысленно кричу ей:

— „Ну, что—довольна ты? Вот я иду, как ты этого хотела?!"

Шум воды стихает. Медленно, одного за другим, засасывает лес: осины, лиственницы, пихты. Под ногами бурелом и густая трава.

Цепко хватаются за платье кустарники таволги, смородины, синей жимолости. На полянах синеет живокость и пестрят жирными, лиловыми брызгами цветки аконита на высоких стеблях.

Все выше и выше.

Лес молчит. Изредка подаст голос дрозд или застучит дятел. С шумом выпорхнул из травы огромный косач. Пущенный вслед ему заряд гукнул и замер. Звук завяз в густых ветвях. Опять молчание. Мягко дробят шаги.

На перевале пьем чай с толканом и сухарями. Русый человек нарвал черно-синих ягод жимолости и

угощает ими даму. Та, смеясь, осматривает и его и меня. Когда она остается на минуту одна, я хвастливо говорю ей:

— Я умею делать то, что он не умеет: ходить на руках и кричать по сорочьи. Это очень трудная вещь.

Она опускает глаза и молчит...

Идем позади всех, вдвоем.

— Ты прав. Гадкая я. Больше не буду.

— Что, не будешь?

Виновато улыбается.

— Не то! Не нужно было! Глупо все это!..

*

Царство хвои. Лиственных пород уже нет; они остались внизу. В широкие просветы видны соседние горы. Верхи их ярко освещены и на светлом фоне плывут тени облаков. Низы и лощины окутаны фиолетовым маревом. На двух ближних, с каменными, голыми черепами, белеют полосы снега.

— Великолепно! Чудесно!—восторгается профессор.—Это: Ючкурлуту, Тастанай и Кажакая. А это—Кальдянап. Знаете, что такое Кальдянап? —лысая лошадь. Не правда ли—очень похожа на лысую лошадь?..

Пошли баданные поля. Ни травы, ни цветов,—один сочный, крупно-лиственный бадан да серые граниты. Пихты тонкие, чахлые, с редкими ветвями в южную сторону. С них спускаются длинные, седые пряди бородастого лишайника.

Спускаемся в седловину между двух вершин, на альпийский луг.

Под навесом четырех кедров распологаемся на

ночевку. В сетках ботаников разложены, только что собранные: пышный синий водосбор, карликовые колокольчики, шелковистая пушица...

Ночь, мягко, ласково задернула окропленный полог. От вершины к вершине, в безконечную даль — широкая, световая дорога.

Среди тишины шипят, потрескивают два костра и негромко, про себя, жужжит алтаец-проводник. Он один, у своего огня...

XXI.

Ни дорог, ни троп, ни человеческих, ни звериных. Царство гранита, большими глыбами сложенного в одну безмерную кучу. И по этим глыбам упорно карабкаются, стараясь добраться до вершины, одиночки кедры. Но до нее еще далеко. Кедры худые, уродливые, с высохшими верхушками. Кора и ветви только на одной южной стороне; северная — голая, мертвая. Около них изредка кусты карликового мозжевельника, без плодов.

Как-то странно – легко подниматься по этим огромным, остроугольным кускам извечного гранита. Свободно прыгаю через ямы и расщелины, взбираюсь на откосы, без устали, в радостном возбуждении.

Неожиданно небольшая зеленая поляна. Среди серых камней, покрытых сухой, вечной плесенью, она похожа на кусок изумруда в матовом серебре. В зелени смеются, радуются-альпийская фиалка и генуана.

Узкая каменная площадка, местами покрытая едва заметным сухим мхом. Это и есть одна из вершин Корбу.

Дышется свободно и радостно. Селения, люди, самая жизнь со всем человеческим —там, внизу, за голубым маревом. А здесь —великая Природа да единосущный Я.

Видно на сотни верст, и все горы и горы: большие, малые, круглые, пирамидами, извилистыми хребтами. И все они в голубом воздушном океане.

Рядом измеряют высоту.

Но какое мне дело до этого?! Я знаю, что я поднялся над всем человеческим! Над самим собой поднялся!..

Ухожу, и один, поместившись на огромном камне, смотрю вниз, где вдали светлеет извилистая лента Алтын-коля. А на верху, совсем близкое, горит солнце.

Послышался отдаленный мужской смех и звонкий женский голос, зовущий меня по имени. Но я молчу. Тот и другой мне чужие. Я жажду одиночества и тишины. Хочу весь отдаться величию момента и торжественной красоте окружающего. Теряю представление о времени и пространстве; обрывается чувственная связь с только что оставленными людьми и далеким человеческим миром. Несколько минут назад я еще был невидимо связан с ним. Пульс его неведомыми путями долетал до меня через горы и тайгу, и чутко, иногда болезненно воспринимался мною в моем одиночестве. Теперь я равнодушен к нему, могу спокойно, холодно мыслить о самом мне близком. Великое бесстрастие спустилось в мою душу, и мысленные горизонты раздвинулись до необ'ятных пределов.

Я окидываю взглядом то близкое и чужое, что

так еще недавно жило во мне, часто порабощая мысли и чувства,—и новые картины, в новом свете предстают предо мной. Медленно развертывается живая, текучая карта мира, незнающая ни времени, ни пространства.

В непостижимом океане первобытной стихии плавают звездные туманы, вспыхивают и гаснут солнца, и огненным бичем сверкают на своих гиперболических путях кометы...

Непостижим бег великих светил, непостижима их жизнь. На погасших и затвердевших, но еще дымящихся небесных телах возникает жизнь, множится, меняет свои формы, виды, неисчислимые в своем разнообразии, непонятные в своем предназначении.

Великая невидимая сила сеет звездные туманы, создает пылающие солнца и рождает ползучие лишайники. И все имеет свой путь и свою цель,—и солнце, и лишайник, и болотный микроб в хоботке камара.

Я вижу над землей зарева пожаров. Кроваво рдеют они во всех частях. Но больше всего там, куда сейчас тянется мой взор. Я слышу оттуда шум, стихийное сплетение голосов и звуков металла.

Это горит старый человеческий мир, и отливаются новые формы для будущего.

Что ожидает в ближайшем будущем человечество?

Крепок старый металл; много еще придется подбросить топлива, чтобы переплавить его, и много сменить плавельщиков; но конец уже недалек.

Предо мною новая, сияющая Европа. Новый ритм в величавом шествии народов к великой Красоте и Смыслу. Впереди всех—Германия,—спокойная, медлительная.

Почему Германия?..

И в средине, еще освещаемая багровыми вспышками—Россия. Но от нее во все стороны бегут токи. От нее—мысль и воля. В ней, еще пылающей, нервной, больной, сосредоточен могучий импульс народов...

Мне кажется, я постигаю и дух творчества; улавливаю бег пытающей и создающей мысли.

Я вижу архитектуру, сочетавшую в себе: дерзновенный порыв к извечному, спокойствие всепроникающей мысли и напряженность творческого духа. Они выразились в необычайном размахе фантазии, законченной выразительности линии, ее упругости и силе.

Слышу музыку, в которой трепет миллионов сердец, отражения мысли и духа, новые миры, и сложнейшие ощущения личности, познавшей себя в космосе.

В поэзии обретаю солнце, радость, напряжение и целомудрие; обнаженное целомудрие. Все это сочеталось в ней и бьет, как из мощного, обжигающего ключа.

Необычайный расцвет искусства и дерзание мысли, каких еще не знала история. Все это прежде и больше всего в России. Достижения техники, промышленная культура, социальное строительство—выше всего в Германии.

Русские дрожжи вспенили германское тесто для грядущей новой жизни.

*

Стою на обрыве. Под ногами неизмеримая каменная яма—ложе исчезнувшего ледника. Все молчит. И вдруг, рядом, свист—тоненько-тоненько.

В нескольких шагах, на гранитной глыбе ма-

ленький зверек, каменный суслик. Подняв голову, смотрит на меня и тихо посвистывает.

Голубое марево, человек и суслик.

Солнце погасло. Горы потемнели; меркнет и небо. Разлита торжественная, мистическая тишина. Вся природа очарована; очарована и моя душа.

Ничуть не страшно в этом молчаливом одиночестве. Может быть, я не найду дорогу, может быть, провалюсь между камней,—ничуть не страшно. Душа, восприявшая окружающую тишину и величие, молится.

Стан свой нахожу только по горящей точке костра. Уже ночь. Где-то внизу кричит сова.

XXII.

В логу, возле речки, в которой я иногда удил быстроплавких хариузов, неожиданно появилась юрта. Было пусто, мертво: горы да речка, да маленькая лужайка. А три дня спустя, на ней торчала, как копна сена, дымящаяся юрта и возле нее бегали двое голых детенышей.

Мы стояли и рассматривали друг друга. Он—скуластый с сонливыми глазами, в короткой, рваной шубенке, под которой лоснилось коричневое тело, смотрел на меня с некоторым испугом. Я подал ему руку; он пожал, подумал и протянул мне трубку, обтерев конец чубука ладонью. И мы стали дружками.

В тот же день, его жена угостила меня лепешками. Растворила ячменной муки и, подняв подол платья, начала на голом коленке натирать тесто. Потом положила его в горячую золу.

В юрте у Сапыша все законно, все на своем месте.

Налево от входа: седла, потники, волосяные веревки. Дальше—арчамаки—три кожанных, дорожных сумы, наглухо застегнутые, распухшие. Я как-то попросил Сапыша показать, что там находится. Он погладил, крепче затянул ремни и, прищуривая глаза, сказал:

— Нельзя! Тут хозяйска добра; моя добра!

Прямо, у стены, висела берестяная люлька и за ней начиналось „добро" хозяйки. Прежде всего, обитый жестью сундук, потом белая шуба и какая то ветошь. Всякий раз, когда я приходил, хозяйка повертывала в замке ключь, и я слышал мелодичный звон пружины.

Ближе к выходу помещались уже общие предметы: кадка с чегенем, деревянный подойник, чашки и ступа для приготовления толкана. Посреди юрты, над очагом, на решетчатой полке, сушились куски сырчика и детские пеленки; в нескольких местах висели бурые, жирные пузыри. В них коровье масло и арча.

Сам он сидит или, чаще, лежит, против входа, за костром,—это тоже закон.

— Эзень!

Сапыш приподымает с локтя голову, вынимает трубку, сплевывает.

— Эзень, эзень!

— Что поделываешь, Сапыш?

Снова циркает в огонь.

— Мало-мало посплял.—Иногда он разнообразит:

— Ездил аил, мало-мало пил арачка.

*

Идем с Сапышем на солонец. Сначала по берегу. Озеро гладко, блестяще до боли глаз. Кой-где вспле-

скивается рыба. У морщинистых, израненных волнами скал неподвижно; вода пристала к ним. Пролетела скопа с большой рыбой в когтях. Понесла в гнездо, которое видно отсюда — на вершине старого кедра, похоже на шапку. Прежде, чем спуститься, долго кружится над ним.

Сапыш не смотрит. Он поправляет за плечами двадцати фунтовую монгольскую винтовку с подставкой у ствола и начинает рассказывать о своей женитьбе:

— Пошел девка лесом, мой догнал его, схватил. Он брыкался, не давался; но мой сильный был, конь сильный был, прискакал себе аил...

Дальше Сапыш рассказывает, как его братья поехали к невестиному отцу с тремя боченками араки торговаться на счет калыма. Как он после свадьбы в продолжении года работал вместе с женою на тестя. После чего тот дал приданное и построил юрту.

Стемнело. Я спотыкаюсь, наталкиваюсь на деревья, царапаю лицо и руки прутьями. И уже не хочется слушать, не хочется итти. Наконец, Сапыш говорит:

— Ладна! Здесь будет начевка,—он ощупывает траву и сейчас же опускается.

Я оглядываюсь. Кругом темь и близкие, смутные стволы деревьев.

— Где же солонец?

— Там,—неопределенно отвечает Сапыш и принимается жевать.

Все молчит, притаилось, ждет чего-то, какаго-то знака, чтобы разом наполнить все окружающее тысячами разнообразных голосов и звуков. Где-то хрустнула

ветка, сверху слетела, прямо в колени, кедровая шишка. Она покрыта липкой смолой; орехи еще незрелы и тоже смолисты. Запахло кислицей. Совсем рядом, громко шукнул филин.

— Ненадо огонь! Нельзя!—схватил меня за рукав Сапыш.

Опять все немо, но чувствуется, что каждая пядь земли таит жизнь, мудрую, великую, недоступную для моего зрения, для моего слуха.

Вдруг, впереди, за черными, расплывчатыми тенями деревьев, что-то сверкнуло. Скользнула и скрылась светлая точка. Я вглядываюсь. Но снова прежняя темь, бездонная пустота.

Некоторое время спустя, опять сверкнула такая же точка, а за ней, почти тотчас же, другая. И обе они быстро, быстро побежали прямо ко мне. Я вскочил на колени и прицелился. Точки стояли совсем рядом. И, странно, они тихо колебались; потом одна погасла, а в некотором расстоянии вспыхнуло сразу несколько. Я опустил ружье. Это было отражение звезд в воде озерка, которое узким заливчиком подходило почти вплотную.

Вскоре тихая гладь воды уже сверкала десятками таких маленьких огоньков; местами она серела, местами похожа была на растопленную смолу.

Я задремал, а когда открыл глаза, уже начался рассвет. Деревья еще темные, но уже с серым налетом, выплывали из вязкого мрака. Над головой и позади было темно, но впереди, за оградой стволов, небо начинало светлеть. Налево, над синей поляной, слабо вспыхивала розовая, расплывчатая полоска, робко зажигавшая дальний конец озерка.

В пяти шагах от меня стоял на коленях Сапыш, в руках держал, положенное дулом на подставку, ружье. Попрежнему было тихо. Но предутренняя тишина была радостной, возбуждающей.

Внезапно раздалось звучное, потрясшее сразу весь лес,—будто кто затрубил в большую серебряную трубу. В первый момент мне даже подумалось, что это дух гор будит природу, зовет всех, больших и малых обитателей тайги к дневному, радостному труду.

И в этот момент, неподалеку, с моей стороны, к озеру выбежал красивый, легкий зверь с ветвистыми рогами. Добежав до воды, он сразу остановился и, подняв кверху голову, снова затрубил. Теперь уже не казался странным этот звук. Но все-таки это было похоже на приветствие грядущему дню.

Прокричав, марал склонил к воде голову. Возле меня раздалось щелканье курка, потом какое-то ругательство одними губами и снова сухой стук железа. Мое ружье лежало рядом со мной, но я забыл о нем.

Марал снова поднял голову, чутко настораживаясь, и вдруг, в два прыжка очутился среди деревьев. Слышался только хруст ломаемых сучьев.

Сапыш громко выругался и кинул ружье.

— Почему не стрелял? Зверь опустил?.. Мой пистон отсырел! Плока!..—Он смотрел на меня со злобой.

Но я был радостен: будет жить и снова приветствовать рождающееся утро...

Когда обратно шли домой, оба молчаливые, тайга шумно жила: пели птицы, жужжали и трещали насекомые, пестрели ярко цветы. В одном месте грелась на солнце большае темно-серая змея. Сапыш

поднял камень и бросил ей в голову, и она задрыгала тонким; серебрящимся хвостом. А из головы текла кровь.

XXIII.

Я только что скипятил чай и хотел разбудить Ганса, как снизу донесся знакомый, такой желанный для нас, голос:

— Эй! Вы! Братья! Затворники телецкие! Встречайте!

Я бросился навстречу, а за мной и Ганс. Ущельем поднимались Никандр и Касим; у обоих за плечами висело по большему мешку.

— Больше не понесу! Бросай, Касим! Довольно! Пусть теперь прут сами! -Он спустил мешок, который сейчас же был подхвачен Гансом.

— Ну, как вы тут замолили грехи-то?—Никандр жмет радостно руку.—А мы, знаешь, на неделю к вам. Что хотите делайте, раньше не уйдем... Ганс! Мы на неделю к вам! Угощай нас дичью, а мы тебя чем-нибудь другим, может быть, получше!

— Что, или арачки привезли?

— Есть, мало-мало!—улыбается Касим.

Я только сейчас догадываюсь, почему он не отдал мне своего мешка—это его угощение.

Со смехом и шутками подходим к дому. Ганс с необычайной для него быстротой принимается потрошить убитых вчера двух тетерок. Мясо их сочно и нежно; пышные перья, попав на огонь, извиваются и шипят, издавая острый запах. Я обращаюсь к Гансу:

— У нас, кажется, осталась еще ветчина?

— Ветчина-а!—удивляется Никандр.—Это откуда же у вас? Уж не свиней ли здесь развели?

— Получше свинины. Медвежий окорок.

— Вот как! Это я понимая! Касим, слышишь? Ну-ка, брат, доставай свои ташауры! При такой закуске медлить нельзя. Выпьем да и на боковую.

Сидим, пьем подогретую водку и закусываем копченой медвежатиной, разложенной на листе бересты. С гор плывет густо текучий шум сосны и кедра, неподалеку вспыхнул мягким трепетом молодой осинник. Вспыхнул и сейчас же погас. Волна бежит по траве: по былинкам, по листкам, одиноким цветкам, клоня их голову. А осинник снова недвижен. Четко выделился каждый листок; — глянцевый — матовый, глянцевый—матовый.

В долине только мы четверо проявляем жизнь. Ганс рассказывает:

— Я шел понизу, он поверху; между нами осыпь—никак нельзя подойти ближе, взять на мушку. Он ревет и швыряет камнями...

— А большой он был?—спрашивает Никандр.

— Здоровенный! Когда немного сошлись—я приложился и прямо в ухо. Спихивал по камням, палкой; всю шкуру ободрал.

Я смотрю на Ганса и думаю: „Все-таки он немного прихвастывает“.

— А вы знаете, как Ганс стреляет?—обращаюсь я к гостям.—Идемте-ка покажу.

Веду к пихте.

— Вот, смотрите. Каждый день по пульке в одно и то же место.

Никандр щупает.

— В одно и то же место? Ловко! Молодец!.. А это?—показывает он выше.—Промах?

— Ну-у! Он никогда не делает промахов. Впрочем, однажды промахнулся; стрелял в дрозда. Но это было всего один раз, и то, пожалуй, не по вине Ганса. Что касается этого выстрела, то он сделан... как бы тебе это сказать...—в честь одинокой любви.

Лицо Ганса бледно, губы плотно сжаты,—полулежит около костра и нервно чертит веткой по песку.

— Касим! Может быть, мы еще выпьем по одной? По последней?

— Нету! Вся кончал!—сокрушенно говорит Касим и показывает мне пустую посудину.

Отойдя в сторону, я спрашиваю себя: Зачем это я сделал? Может быть, во мне то же чувство, которое я так ненавижу в других? Нет, не оно. Я не могу равнодушно смотреть на его нетеропливые, размеренные движения, на методичность, на медлительность мысли и речи. Меня возмущает его необычайная лень, неспособность смело и прямо выражать свои мысли.

Я подхожу к Гансу и кричу:

— Чорт вас возьми! Почему вы молчите? Не закипите, не изругаете меня, не броситесь с кулаками?!

Он смотрит удивленными глазами и не знает, что отвечать. Никандр с Касимом смеются: это для них выходка пьяного.

— Ганс!—я опускаюсь рядом,—Ганс! Больше не будем. К черту!

Он лениво набивает трубку; попрежнему прост и спокоен.

— Я ничего... Ладно... Вот арачки маловато Еще бы.

Касим виновато улыбается.

— Хозяйка мало сидел. Молока нет. Одна корова пропал, другая пропал...

— А знаете что, братья? Давайте гнать сами!— предлагает Никандр.

— Из чего?

— Найдем из чего! Не впервый раз!

Касим, опустив голову, сам себе жалуется:

— Одна корова пропал, другая пропал... Нет сють, нет чегень, нет курут! Он долго смотрит сощуренными глазами на потухающий костер.

*

День собирали и два дня квасили,—спелые, сочные, ягоды черемухи. Никандр к деревянному ведру приделывал трубку и самое ведро прилаживал к чугунному казану. Теперь мы сидим вокруг костра и ждем результата нашей работы. Внутри казана глухо урчит и булькает, от крышки, примазанной глиной, поднимается пар. За костром темно и тесно, цепко охватила мгла, придвинув вплотную силуэты гор и черную стену леса. Наверху, в серой мути — десяток ныряющих огоньков.

— Первую чашку изобретателю, — говорит Никандр, беря из-под трубки чайник и наливая из него прозрачную, с легким парком, жидкость.

— Это полнейшее свинство с вашей стороны!— притворно негодует Ганс и протягивает руку к чашке.—От первой все должны испробовать.

— Великолепно! Превосходно!..

Чашка делает полный круг.

— Медленно очень, истомишься в ожидании. Надо дров подбросить.—Ганс начинает ломать сучья.

Сапыш настраивает топшур.

— Жж... Жж... Жж... Жил Белый хан, сильный богатырь...—зажужжал, захрипел в полголоса Сапыш, перебирая струны самодельного инструмента.—Стал тосковать Белый хан: если-б сын у меня, если-б наследник... Пошел он заложить коня, чтобы поехать к другому хану за советом. А конь в длину семьдесят аршин и в ширину пятнадцать аршин...

Бурлит в казане, тонкою струйкой подымается парок. Касим то и дело опускает в кувшин лучинку с тряпочкой и пробует на язык крепость араки. А Сапыш все хрипит, тихо покачивая головой.

— Тайга едет—лес падает, горы падает. Навстречу другой богатырь: «Поезжай назад и жди—через семь дней родится у тебя сын с железной головой, которую не возьмет ни пуля, ни штык. Жж... Жж...

Между гор показался серпик луны и скоро опять исчез. Костер уже не трещит, в нем куча красно-золотистых, жарких углей, которые бросают вокруг переливающийся розовый свет.

Чашка с арачкой сделала уже много кругов и теперь, в ожидании, покоится на коленях у Касима, который доканчивает выгонку напитка. Ганс с Никандром лежат, вытянув ноги во тьму. Красные пятна скользят по лицам, по платью и тают, растворяются в ночи. А Сапыш все жужжит, как большой, неугомонный шмель:

— Схватил его Камудай и поднял до самого облака. Черный богатырь хотел схватиться за кедр—не успел, хотел схватиться за гору—не успел. Камудай бросил так, что он ушел в землю на семьдесят семь аршин... Жж... Жж... Жж...

С аракой покончено. Все лежат, властно охваченные ночным мраком. Может быть, спят, может, только ушли в свои думы. Затихло шмелиное жужжание Сапыша. Неоконченную сказку будет досказывать черная, предосенняя ночь...

Привет вам далекие, вечно бодрствующие звезды!..

XXIIII.

— Вот и я! Давно у вас не была! Наверно, соскучились?—жмет нам руки: мне и Гансу.

Она такая же подвижная, жизнерадостная, с огнем в глазах. Я рассматриваю ее. Немного изменилась за лето. Значительно возмужала; стал чуть-чуть грубее голос. Но это нисколько не портило. Лицо покрылось загаром, волосы немного посветлели. Но вот руки. О-о! Много они потерпели за лето. Кожа затвердела, местами потрескалась, и в трещинах была черной. Немудрено: целое лето они рылись в земле.

Неужели прошло целое лето? Как быстро иногда бежит время!

Пока она отошла и разговаривает с Гансом, я стараюсь пробежать весь период нашего знакомства.

Одну за другою припоминаю встречи. Очень памятны только первые и последние, а в средине почти не помню. Они стерлись в моей памяти.

...На груди у нее цветок ириса и на устах для тебя улыбка...

...„Ты позвал меня, и я пошла, не спросив, кто ты; даже не узнав твоего Имени"...

Не забываемы, ярки эти встречи. Я стараюсь

воскресить переживания этих дней, вспоминаю слова— и мои, и ее,—позы и движения. И чувствую, сильнее начинает биться сердце.

Гуляем вдвоем. Ходим по долине, по лесу и спускаемся к озеру. Сидим, прижавшись друг к другу, на каменном обрыве, молча смотрим в тихо плещущуюся о камни воду.

Язычница необычна сегодня. В ней больше, чем всегда, нежности и теплоты,— особой, пожалуй, материнской теплоты. Смеха, яркого, брызжущего, почти нет. Когда я отмечаю это, она улыбается и пристально смотрит на меня.

— Ты раньше читал в глазах мои мысли. Прочти, что я сейчас думаю,—говорит она тихо, немного глухим голосом.

— Сейчас я не знаю, о чем ты думаешь. Совсем не знаю.—Я тянусь губами к ее глазам.

Смеется.

— Я, кажется, и сама не знаю, о чем думаю. Ни о чем и очень о многом... Знаешь, что?—глаза ее стали ласковыми, близкими.

— Что?

— Расскажи мне что нибудь.

— Что же тебе рассказать? Сказку? Но я уже много рассказывал их.

— Да, да — сказку, и такую, какую я еще ни разу от тебя не слыхала.

Помолчала немного.

— Которую ты еще никому не рассказывал...

Поплескивает о камень вода, шумят над головой кедры, и она, рядом, прижалась к плечу.

Я рассказываю:

В горах бежит олень. От ветвистых рог его льется сияние, из-под тонких, быстрых ног, вместе с камнями, летят искры. Он несется по ущельям, взбегает на скалы, перепрыгивает через пропасти, скачет с гребня на гребень и все кричит, одно кричит:

— „К солнцу!“ —

Горло его, точно серебрянная труба, рождает мощный, многократно повторяемый эхом крик

—„К солнцу! К солнцу!“... —

И прислушивается к этому голосу все окружающее: птицы, звери, растения, текучий воздух.

— Смешной зверь!—восклицает маленькая пеночка.—Зачем звать к солнцу, когда оно само каждое утро приходит к нам? Я завтра встречу его своим пением вон на той ветке!..

— Да и хорошего в нем ничего нет!—говорит сонливым голосом летучая мышь, в тени ветвей зацепившись хвостом за сучок.

— „К Солнцу!“—Трубит олень в свою серебрянную трубу.

— Зачем он зовет к солнцу?—затрепетали хором бабочки.—Нам и здесь хорошо! Вон, сколько кругом всяких душистых цветов! А лететь далеко—не выдержат наши слабенькие крылышки, да и спалить их можно,—там, наверно, очень жарко.

— В тени жирнее земля, — сказал дождевой червь.

— Без солнца лучше ловить полевых мышей!—проухал филин.

А олень все скакал: по скалам, по курумникам, через черные, каменные трещины, в ту сторону, где ярко светило солнце. В одном месте он, услышав

голос самки, остановился, повернул голову. Но это было только на минуту. Пылающее светило неудержимо влекло. И вот он на гребне горы; под ним пропасть. А солнце,—солнце совсем рядом, достигнешь одним прыжком.

— „К солнцу!“—протрубил олень сильнее прежнего и сделал мощный скачек,—скачек в пропасть.

И горы долго повторяли последний крик отважного зверя...

— Таков удел заносчивых и гордых! — сказала глубокомысленно жаба, взглянув под кручу. И все смеялось в горах.

— Глупцы!—крикнул сидевший на скале орел. —Я видел, как он рогами своими коснулся солнца!— Сказав это, орел расправил крылья и полетел туда же...

Язычница берет мою руку и незаметно, точно украдкой от меня и себя, прикасается к ней губами...

Вечер. Ганс варит ужин.

— Эту ночь я проведу у вас, — говорит Язычница. Мы будем здесь, у костра. Нет, пойдемте лучше в юрту!.. Впрочем, подождите! Сидите тут! — И не дожидаясь ответа, быстро скрывается. Возвращается с охапкой ветвей: кедра, пихты, маральника, и принимается украшать наше жилище. Потом приносит папоротника и цветов.

Весь вечер и половину ночи сидим мы все трое, точно в благоухающем алтаре, посредине которого пылает жертвенник.

— Как жалко, что у нас нет бубна: я протанцевала бы танец солнцу.

— Которого сейчас нет,—добавляет Ганс.

— Но оно во мне. Я полна им. Разве вы не видите, как оно переполнило меня?—смеется Язычница.

Утром, когда мы с Гансом еще спали, за дверями громко раздалось:

— Вставайте, скорее! Идите Смотреть!

Я торопливо вышел наружу.

Поляна и ближние деревья густо, свежо зеленели, словно только что окрашенные; дальний лес и лощины были завешены глубокими фиолетовыми тенями, а на вершинах гор сверкал снег. Солнце только что показалось из-за хребта, и по серебру снега скользили розовые, расплывающиеся пятна; яснело, разгоралось небо.

Мы молча, благоговейно смотрели на зажигающийся день.

Позднее, Язычница мне сказала:

— Мне нужно с тобой кой-о чем поговорить. Пойдем вон, туда, к лесу.

Начала просто, будто о самом обыденном:

— Знаешь, я буду...—и сейчас же запнулась.— Я счастлива. Ведь этого я хотела. Понимаешь—к этому стремилась!.. Я думала, мечтала об этом, когда ты ушел после первой нашей встречи. Я сказала себе: „Вот от кого будет". Помыслила и сразу почувствовала в сердце своем радость. Когда ты пришел второй раз, я знала, что ты пришел взять любовь мою. Я смотрела на тебя и говорила себе: „Это твой муж!"..

Она некоторое время молчит, возбужденная, опустив глаза. Кровь усилила загар лица и колышет грудь. Я стараюсь почувствовать волнующее ее, хочу заглянуть в душу.

Подняла голову и неожиданно шутливым, почти безпечным голосом:

— А теперь—протянем друг другу руки.—На лице нет ни страдания, ни волнения.

Не совсем понимая, беру ее руку.

— Повтори, что ты сказала.

— Странный! Разве так трудно понять? Наверно, ты сам думал об этом!

— О чем я думал?

Улыбается и, наклонив мою голову, целует волосы.

— Ведь мы уже не можем дать друг другу лучше того, что было. Понимаешь—не можем!.. Нет, я не то хотела тебе сказать! Я хотела сказать, что если бы любовь моя была такой же, как и в первые дни—я все-таки ушла бы от тебя.

— Почему?

Опустила голову, вертит пальцами травинку.

— Почему ты ушла бы от меня?

— Ты... Ты мешаешь.. Мешаешь любви... к нему. Понял... Во мне она уже нарастает... Постой! Скажи, что больше?.. Нет! Я и сама знаю! Я, пожалуй, стала бы ненавидеть тебя! Может быть, и любить и ненавидеть!.. Ну, давай простимся!.. Я благодарна тебе за те радостные часы, которые ты дал мне своей любовью! Но больше всего благодарна за то великое женское счастье, которое ждет меня впереди!..

Она ушла той же дорогой, по тесному ущелью, по которой пришла в первый раз. Шла своей быстрой, легкой походкой. На фоне серого, мертвого камня долго голубела знакомая кофточка и золотилось пятно волос.

XXV.

Идет осень. Медленно идет, неторопливыми, ровными шагами. Но ход ее настойчив и непрерывен. Никому ни на каком коне не ускакать от нее.

Еще позавчера, на березах и осинах были только тонкие, желтые пряди; а сегодня деревья озолочены уже наполовину. Полувысохший лист срывается от легкого порыва ветра и, безпомощно, жалко крутясь, падает на землю.

Но больше всего видно это на мелкой растительности; осень крепкой пятой наступила на нее.

Желтеет, сохнет трава. Высокие стебли живокости, чуть ли не вчера поднимавшие свои синие цветы выше моего роста, затвердели и поникли; отпадают от них почерневшие листья. Та же участь постигла и лиловый борец, на котором висят одинокие, умирающие лепестки цветов. Среди блеклой зелени ярко краснеет трехлапчатый земляничник; кой-где сверкают кровяными капельками ягодные веточки костяники. Сорвешь их, возьмешь в рот, и сейчас же выбросишь—наполнены они солоноватой, невкусной жидкостью.

Вот заросли папоротника. Это теперь кладбище папоротника. Прикоснешься к зубчатым, благородным листам,—и они обращаются в прах.

Кой-где чивикнет птица; ей откликнется другая. Голоса их робкие, неуверенные. Перекликнутся и замолчат обе,—обменялись парой своих птичьих слов о разлитой грусти осени, и снова ушли в свое одиночество.

Полны жизни и неугомонны по летнему лишь

одни кузнечики, стрекочущие в траве тысячами голосов. При каждом шаге они так и брызжут в стороны,—большие и малые, всяких цветов. По стволу сосны деловито стучит дятел. Подкрадываюсь, посмотреть его, энергичного, хлопотливого... Так и есть—камыртка,— черный с красной головкой...

Между ветвей то и дело попадаются нити паутины, и в них бьется мелкая мошкара. У старого, голого пня поместилось большое семейство тонконогих грибков, похожих на кораллы. Я срываю один из них и рассматриваю. Прекрасный! Изумительный! Нежные складочки, прозрачная кожица, и весь он такой слабый, хрупкий, что нельзя прикоснуться, не оставив следов грубых рук.

Мне грустно немного. Сажусь на траву и смотрю в небо; оно все такое же: далекое, спокойное, бесстрастное.

И вдруг мне показалось, что небо, огромная часть его, имеет тонкую трещину, такую, какие бывают на стекле. Я долго не отвожу пристального, испуганного взгляда от этой, чуть-чуть выгнутой, тонкой трещины. Слышно шмелиное жужжание.

Момент—и трещина пропадает, рвется у самых моих глаз. И небо снова нетронутое, блещущее чистотой и непорочностью.

Это была лишь нить паутины, попавшая в фокус моего зрения. А виновник ее исчезновения, большой шмель, уже прильнул к тощей, белой кашке и пытается вытянуть из нее капельку меду...

Мне хочется крикнуть ей, ушедшей:

— Слышешь ли ты меня?!. Два венка я тебе сплел: в праздник весны, из аромата первых встреч,

дум, и томлений, и чувства моего весеннего! И второй—из зноя страсти, огненных касаний и трепета зажженого тела! Теперь я плету тебе новый венок, последний! Из самых ярких цветов мечты моей; свяжу их золотом изысканных слов и полью вечным благоуханием души!

Не печаль, не тоска о минувшем будут в этой последней дани. Я никогда не тоскую о том, что прошло. В ней нежность моя—заключительный аккорд симфонии чувств, последняя строка сонета.

Тускнеют краски, тает последнее дыхание растений; в природе разливается великая грусть.

Может быть, скажут: деревья грустят и поля печалятся по минувшему лету, по радости своей прошедшей.

Нет! Без боли и сожаления расстаются они со своим изжитым. В спокойствии бесстрастной зимы будут они копить новые силы и чувства для новых, грядущих переживаний.

Эта грусть—и в природе и во мне, есть вечерняя благодарственная молитва прошедшему дню:

— Благодарю тебя, отошедший в вечность день за все, что ты дал мне! Не жалею о твоем уходе и не хочу твоего возвращения!

Да здравствует, неизбежно грядущий, новый день! Все, что он несет мне: печаль, радость, наслаждение и страдание,—все с благодарностью приемлю!..

XXVI.

Дзинь... Дзинь... Пара почтовых бежит по укатанной дороге; мягко дробят копыта.

— „Эй! Послушайте, ямщик! Далеко ли до постоялого? Мне холодно! Я мерзну!“..

Ямщик безмолвен. Скрипят по снегу полозья... Ах, как мне холодно! Я совсем замерзну!..

Шипит, гудит самовар: у стола девушка с русыми волосами.

— „Вам холодно? Выпейте скорее горячаго чаю! Я вам сейчас налью. Садитесь, вот я налила!“

— „Девушка, какое у тебя ласковое лицо и золотистые волосы! Ах, какое милое лицо! Как тебя звать? Я хочу узнать, как тебя зовут?“

— „Звать меня Алтын-кыс (золотая девушка). Я не здешняя, живу далеко отсюда. Я пришла только затем, чтобы напоить тебя чаем“...

Дзинь... дзинь...

— „Кто это приехал? Поди посмотри, кто это приехал? Не Ганс ли? Я жду товарища своего, охотника Ганса.

— „Нет! Это запрягают новую пару, чтобы везти меня!“

— „Подожди, не уезжай! Мне с тобой так хорошо!.. Знал я еще одну Алтын-кыс; у ней были грубые башмаки и нежное сердце... Очень нежное сердце!.. Я опять что-то дрожу. Может быть, мне еще стакан чаю?“..

— „Да, я тебе налью еще стакан чаю. Ты очень озяб. Ты едешь из гор, где от тебя ушла Алтын-кыс“...

Дзинь-дзинь... Дзинь-дзинь...

— «Что это за звон? Такой сильный, торопливый звон»?

— «Как, что? Ведь это пожар — горит твое

сердце! Раскрой грудь я залью огонь. Вот так! А теперь я буду петь и танцевать. Смотри!

*

Качается, крутится голова кама Мампыла, в высокой шапке с совиными перьями. Вздрагивает бубен, гремят бубенцы, мечутся отрывистые, певучие звуки.

Грузная фигура вертится, притапывает; ленты на шубе развиваются и, не смолкая, звенят на спине девять пар колокольцов.

— ...Ат-каракту Суйла-кан.

Айдып иаспас кан-келе...*)

У костра дремлет Сапыш; хозяйка его, Турло, помешивает в казане. А вверху, в отверстии—круглый кусок черного неба. Что-то давит бок и спину.

Турло говорит. Нет, не Турло говорит, а девушка с черной косой:

— „Это тебя наказал дух,—вон, на той высокой горе живет! Вот кам покамлает, и все пройдет“...

— „Да, да. Он камнем меня. Целой скалой с самой вершины. Я у него украл что-то. Ты не знаешь, что я у него украл?“

— „Ты украл у него покой и сон“...

— „Да, я украл у него покой и сон“.

— „Ты украл у него ключи к источнику радости.“

— „Да, я украл ключи к источнику радости.“

— „Ты украл у него тайну жизни и смерти...“

— „Тайну жизни и смерти? Ах, да, да! Я и это украл!.. Я лежал, на камнях, кверху лицом, а он смотрел на меня и смеялся. Волосы у него русые...

---

*) „Скажи правильно, без ошибки, косноязычный, дальновидный, все предсказывающий Суйла-кан“!..—Так кам спрашивает духа у постели больного.

Девушка, ты не знаешь, какие на нем башмаки: не с большими ли гвоздями? Когда он поднял ногу, чтобы ударить меня, на подошве заблестели большие шляпки гвоздей... Потом он почему-то, лег рядом со мной; из головы у него текла кровь... Девушка, ты не знаешь кама посильнее Мампыла? Я хочу узнать от него, куда девался Ганс... Ты говоришь, что знаешь? Живет он в Кыга-вершина.. Да, да, и я слышал о нем. На старом кедре, над могилой висит бубен. Ленты уже истлели и кожа лопнула,—я сам видел это. Но дух Эзи живет в нем и по ночам иногда камлает... Так ты говориш, что этот кам будет посильнее Мампыла? Позови мне его. Прошу тебя—позови мне его! Я хочу узнать, где мой товарищ охотник Ганс. Ну, пожалуй, спрошу и еще об одном человеке... Ты засмеялась... Какой ты стала безобразной!..“

— „Я не девушка; я каракатын*), а смеюсь потому, что мне очень смешно. Алтын-кыс от тебя ушла,—мне очень смешно!..“

Дзинь... дзинь...

— „Кто там? Нельзя! Заперто! Сердце мое заперто!..“

XXVII.

Дни и ночи, как два воза тащатся по пыльной дороге.—„Где извозчик? Подгони, пока солнце еще высоко! Передохнем после!“ Рядом, в тяжелых сапогах шагает одиночество:—Куда нам спешить! Солнце еще высоко!..“

По тропинке неторопливо переваливаются две

*) Каракатын—черная (злая) женщина.

утки: белая и черная.—„Ко двору они идут на ночлег?"

— „Нет! Солнце еще высоко!.."

*

Мне иногда думается, что Ганс только ненадолго вышел. Смотрю в угол, где стояло его ружье. Конечно, он недавно вышел и к обеду вернется с двумя или тремя птицами. Будем жарить их, потом, лежать и разговаривать. Как это хорошо!

Сегодня внезапно мелькнула мысль. Схватываю топор и бегу к пихте. К одинокой пихте неподалеку от юрты. Торопливо обрубаю отверстие. Спустя несколько минут, у меня в руках кусок свинца, состоящий из сплющенных, тесно одна к другой прижавшихся пулек. Я внимательно считаю. Оказывается— сто двадцать две, и одна—одинокая, пролетевшая над моей головой.

Теперь я точно знаю, сколько времени мы провели здесь вдвоем: сто двадцать три дня.

Медленно возвращаюсь в юрту и растягиваюсь на кошму. Итти никуда не хочется.

XXVIIII.

Третий день идет дождь. Я лежу на кошме и и смотрю в круглое отверстие на мутное небо. Сбоку потрескивает костер; возле огня греется чайник. Он целые дни стоит тут, и я десятки раз за сутки пью коричневую, перекипевшую жидкость, заваренную из прошлогодних листьев бадана.

По берестяной крыше дробит вода и доносится шум ветра, по временам со свистом и завыванием. Он рождается тут, поблизости.

По бокам и над головой еще висят ветки кедра, пихты и маральника. А в изголовии у меня целая куча высохшего папоротника.

Я подношу к лицу маленькую веточку маральника, но растение уже не пахнет. И только, когда растираю между пальцев узенькие, свернувшиеся в трубочку листики,—только тогда чувствую слабый остаток прежнего аромата. У дверей, по дну котелка, звонко задолбила вода. Мысль моя скачет с предмета на предмет, которые нанизаны на один вопрос и замкнуты в тесный круг.

В зачатии человека участвуют все силы вселенной. И как они могут не участвовать, если от единого мирового Разума отщепляется живая частица, обособляется, чтобы осознать самое себя и весь мир?.. Великий Разум познает себя только в живом, в существе. Растворенный в первобытном хаосе вселенной, в звездной туманности, он слеп. Разумно слеп. Он преследует лишь одно—производство. Стремятся к совершенству только готовые формы...

Где теперь Ганс?..

...Человеческая страсть подчиняется единым законам вселенной. Может быть, у нее такой же замкнутый, круговой путь, что и у планет. Свободная мысль тянет в пространство, к вечному, но солнце Пола влечет к себе. И эти две силы создают орбиту...

Налетел порыв ветра и заколебал стены юрты; сильнее затрещал костер, разбрасывая искры...

Я думаю, исчезнет ли то, что было. Знаю—оно будет вечно, но мне снова хочется продумать это.

...Вот, мы дали друг другу поцелуй. Этим незначительным движением, происшедшим вдали от людей,

в ущельи гор, мы совершили величайшее событие. Жизнь каждого человека сложится теперь по иному. Не только жизнь людей, но и все живущее на земле, и самая планета, и все звездные миры будут отвечать на это явление.

Как камень, брошенный в спокойную воду пруда, до берега гонит родившиеся круги; как волна радио, посланная с одной точки достигает всех точек мира, так сила страсти двух человеческих существ облетит всю вселенную, коснется всего сущего, и непостижимыми, чудесными электронами зажжет их и двинет. Пусть это действие будет бесконечно мало, но оно все таки не пройдет бесследно.

А об'ятья, вид склоненных голов, соединенных губ? Разве они останутся никому не известны? Нет! Они будут даже и тогда, когда эти двое людей разойдутся; когда превратятся в прах! Они переживут и и самую планету... Да, это так будет! Свет воспримет эти картины и понесет в бесконечные дали вселенной со своею непостижимой быстротой, и будет нести вечно.

Как знать? Может быть, дух наш, освобожденный от тленного тела, и блуждая в межпланетном пространстве увидит когда-нибудь эту горную долину и две склоненных друг к другу головы? Увидит тогда, когда земли уже не будет и вся наша солнечная система превратится снова в звездную туманность...

Мною овладевает состояние бесстрастия; я погружаюсь в благодатный омут покоя. Ни грусти, ни сожаления, ни радости,—тело и мысль блаженно истекают в невидимую, вечную среду...

XXIX.

Сегодня опять солнце. День светел и наряден. Беру ружье и отправляюсь бродить.

Кругом полная осень. Не жалостливая, слезоточивая вдова, скорбящая о своем прошлом счастье, а яркая, солнечная, в красочном наряде красавица. Лучшее праздничное платье достала она из своих потайных кладовых, и шествует, пышная, сверкающая, в веселый хоровод. Хмельной ветер задорно играет ее кудрями, развевает их и стелет окрест, везде и всюду.

Привет тебе ликующая осень! Ясна и радостна моя душа.

Иду тугим, напряженным шагом, обнажив голову и грудь. Ветер тепло, дружески перебирает волосы, и в груди,—ласковая, спокойно-радостная прозрачность. Хочется итти, все итти по поляне, возле озолоченной опушки и пить солнце и осеннюю бодрость.

Раскачиваются, волнуются рыжие косы берез, разливается румянец осин и черемухи, желтеет тонкий загар лиственниц, буреют и горят мхи,—и это в темной зелени хвои и прозрачной синеватости воздуха.

Знакомое лицо осени...

Иду, радуюсь солнечности, яркости красок и своему настроению,

Если была бы она—передать бы ей свою радость...

Стою на обрыве. Внизу, в темный, ноздреватый камень размеренно, тихо плещет прибой, а дальше— вода почти недвижна. Вправо и влево—серая лента озера, на десятки верст—в горах, в мысах, в терассах·

Всем им я знаю название, странное, на чуждом, древнем языке, порожденное легендой.

Вон, на том зеленом мысе, живут два монаха-отшельника, ушедшие от суетного мира. Я недавно был у них, пил вместо чая душицу с чебрецом и мятой, ходил по маленькому огородику, где на ряду с овощами росли пылающие маки, и вел душеспасительные беседы. А вечером, когда с гор текла святая тишина, наполняя долину миром и благостью,— тот, который был древнее, рассказывал мне, как к нему из тайги ходит медведь. „Прийдет, сядет неподалеку и ждет, когда я подам ему кусок хлеба. Возьмет,—а лапа большая, мохнатая, и тихо уходит, покачивая головой...“

Дружба двух пустынников, двух таежных жителей, которых сблизила первобытная природа...

Поперек озера бежит мелкий узор зарождающихся волн. Это из лощины вырвался невидимым клубом ветер. Скользнув по поверхности, он сейчас же растаял в широкой, воздушной струе. И движущийся штриховой рисунок на сером зеркале, медленно растекается, точно набросан лаком. Растекается и полирует воду. Воздух чист и немного прохладен. Вдыхая его, обновляюсь, крепну телом и духом, проникаюсь ясною, радостною мудростью природы.

Медленно возвращаюсь по той дороге, по которой ходила ко мне Язычница. Вот поляна, где я впервые встретил ее. На поляне нет уже огоньков, но это нисколько не печалит меня. И хорошо, что их нет! Отсутствие их заключает поэму моей здешней жизни. Золото и богрянец на фоне блеклой травы и ясной

лазури, говорят, что была когда то любовь и страсть, а теперь радостное спокойствие и углубленность.

Вот здесь, к этой траве, прикасались ее башмаки; эти ветви задевали ее голову и плечи. Может быть, вот эта, наполовину разорванная, липкая паутина, коснулась ее лица...

Как это хорошо! Как все прекрасно и мудро!

Литургия окончена, в храме затихло. Но он не пуст: под высокими сводами еще витают образы и видения; еще чувствуется зной не остывших молитв, а из алтаря истекает аромат благовонных курений и таинство причастия.

Торжественная тишина и величие в храме души моей...

Вот и жилище, в котором я провел столько времени. Все кажется в новом свете—радостно спокойном...

Гаснет день, над синей горой розовеет заря. А завтра утром зажжется другая заря...

Великую благодарность посылаю всему, что наполняло меня, заставляло мыслить, любить и радоваться.

Прощайте: тайга, горы и озеро! Иду в иную, новую жизнь, к иным, новым зорям!

Город снова зовет меня к себе...

1920-1921 г.
Алтай—Москва.

Павел Низовой.

Кооперативное Книгоиздательство „УТЕС."

НОВИКОВ-ПРИБОЙ **«Море зовет»**, морские рассказы на роскошной бумаге . . 1 р. зол.
Тоже на газетной бумаге . . 50 к. зол.
НОВИКОВ-ПРИБОЙ **«Под южным небом»** расск. 10 к. зол.

И. Н. ЖУКОВ **«Игры»** сборник—12 копеек золотом.

«Русские народные сказки»

в красках на бристольском картоне:

Выпуск I. **Колобок** . . . . 30 к. зол.
» II. **Пузырь, Соломенка и Лапоть. Теремок**—2 сказки . . . . 30 к. зол.
» III. **Лиса и Кувшин. Кот. Петух и Лиса**—2 сказки . . . . . 30 к. зол
» IV. **Золотое яичко** . . . . 35 к. зол.
1, 2 и 3 выпуски разошлись полностью.

Готовится к печати.

Литературный сборник «**АЛЬФА**» с рассказами **Бориса Зайцева, Скитальца, Н. Ляшко, П. Низового, Новикова-Прибоя, Константина Одинокого**, стихотворениями **Московских пролетарских поэтов** и критическими статьями **Ю. И. Айхенвальда.**